

ЛЕВ КУЗЬМИН



КРАЙ ЗЕМЛИ

КРАЙ ЗЕМЛИ

**ПОВЕСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА**

P2
K89

© Пермское книжное издательство 1976.

К $\frac{70802-79}{M152(03)-76}$ 42-76

ГОВОРЯТ, БЫЛ ПИСАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ ОПИСЫВАТЬ ДОМА И УЛИЦЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОН ПИСАЛ, КОГДА КОНЧИТСЯ ДОЖДЬ. НЕТ, ОН ЛЮБИЛ ОПИСЫВАТЬ ГОРОД, ТОЛЬКО ЧТО ОМЫТЫЙ ДОЖДЕВЫМИ СТРУЯМИ. БУЛЫЖНУЮ МОСТОВУЮ, В КОТОРОЙ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ СВОЕГО ЦВЕТА — КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ; ОКНА ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПОЖАРОМ ГОРЯТ СТЕКЛА, ДЕРЕВЬЯ, СТВОЛЫ КОТОРЫХ ПАХНУТ ОСТРО-ОСТРО, А ЛИСТЬЯ ЕЩЕ МОКРЫЕ, КЛЕЯКИЕ...

АВТОР ЭТОЙ КНИГИ ЛЕВ КУЗЬМИН ЛЮБИТ ОПИСЫВАТЬ УЛИЦЫ И ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ. ВОТ ИНТЕРНАТСКИЕ МАЛЬЧИШКИ ЕДУТ ЛЕСОМ, А ЛЕС ПРОСКВОЗИЛО МАРТОВСКОЕ СОЛНЦЕ, ВСЁ В НЁМ СВЕТЛО И ПРАЗДНИЧНО. А ВОТ ОНИ БЕГУТ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ НОЧЬЮ, И ДОРОГА ЭТА ОБЖИГАЕТ ИМ ПЯТКИ СТРАХОМ... ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ, СПУСТИЛСЯ К РЕЧКЕ МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕША — ТАКИМИ ГРОМАДНЫМИ И ЯРКИМИ ПОКАЗАЛИСЬ ЕМУ И УЗЕНЬКАЯ УЛОЧКА, ПОРОШНАЯ ТРАВой, И РЕЧКА, НА БЕРЕГУ КОТОРОЙ ТЮКАЮТ ТОПОРАМИ, МАСТЕРЯТ МЕЛЬНИЧНОЕ КОЛЕСО ПЛОТНИКИ... ВПЕРВЫЕ ЛЕТИТ В САМОЛЁТЕ, А ПОТОМ ЕДЕТ НА ТРАКТОРЕ ДЕВОЧКА КИРИЛКА — И СТОЛЬКО НОВОГО ЕЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ И В ЛЮДЯХ!

ЧИТАЕШЬ — И ДИВУ ДАЕШЬСЯ: НЕУЖЕЛИ ТЫ САМ ПРОПУСТИЛ КОГДА-ТО ЭТОТ МОМЕНТ — ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕМ, ЧТО НАЧАЛОСЬ ЗА ПОРОГОМ РОДНОГО, ПРИВЫЧНОГО ДОМА?

А ЕЩЕ УДИВЛЯЕТ ВОТ ЧТО: КАКИХ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ НАХОДИТ ПИСАТЕЛЬ В СПУТНИКИ СВОИМ ГЕРОЯМ! ПЛОТНИК АРСЕНТИЙ, ИНТЕРНАТСКИЙ ЗАВХОЗ ФИЛАТЫЧ, ШОФЁР ВАСЯ КОЗЛИК — С ТАКИМИ, ХОТЬ ОНИ И ВЗРОСЛЫЕ, МОЖНО ДРУЖИТЬ, С НИМИ НЕ СТРАШНО, И, КАК БЫ НИ БЫЛО ТРУДНО, ВСЕГДА ЕСТЬ НАДЕЖДА.

ПОЖЕЛАЕМ ДОБРОГО ПУТИ ГЕРОЯМ ЭТОЙ КНИГИ — МАЛЕНЬКИМ И БОЛЬШИМ!

СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «КОСТЁР»

ЛЕВ КУЗЬМИН КРАЙ ЗЕМЛИ



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • 1976



**ПРИВЕТ
ТЕБЕ,
МИТЯ
КУКИН!**

Старая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают лёгкие тени сосен. По вешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними — синь, солнышко и кучевые прохладные облака.

В этой деревенской школе — интернат для детей-ленинградцев.

Маленькие ленинградцы ждут здесь конца войны вот уже второй год. Многие из них и теперь ещё нет-нет да и принимают добродушное тарактение колхозного трактора за наползающий издали угрюмый рёв вражеского бомбардировщика или испуганно вздрагивают, если хлопнет от сквозняка форточка, и всё-таки сейчас они уже заметно пришли в себя, к сельскому житью привыкли, как давно и крепко привыкли друг к другу.

Здание школы небольшое. Повариха и нянечки в ней здешние, деревенские, приходят сюда только на работу, и постоянных жильцов в интернате немного: десяток девочек да полтора десятка мальчиков. Все они малыши в возрасте от шести до девяти лет. И только двое — Елизаров и Кукин — чуть постарше. Единственная воспитательница и учительница ребят, маленькая решительная женщина в старомодном пенсне, Павла Юрьевна, занимается с Елизаровым и Кукиным отдельно, по программе третьего класса. Таким своим особым положением оба мальчика гордятся, держатся всегда вместе, даже топчаны в спальне у них стоят рядом.

Но всё же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить по утрам звонко и весело, на всю спальню английское приветствие «Гуд монинг!», за ловкость в драке, если таковая случается с деревенскими ужасно напористыми в бою мальчишками; за нежадность и за многое-многое другое, даже за причёску «чубчик». Причёска кареглазому говорливому Ели-

зарову очень идёт. Он храбро её отстоял перед Павлой Юрьевой, когда всех мальчишек стригли наголо, «под ноль».

Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет и, наверное, никогда не будет.

Митя знает, что он хотя и силён, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо густо залепили веснушки, что в случае чего сдачи он дать никому не может — ему для этого надо рассердиться. А сердиться он не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.

Только это всё мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.

Правда, одно время и Саша начал было думать, что остался без отца. Отец у Саши балтийский моряк, на войне с первых дней, но в то время, когда Саша ещё жил с мамой в Ленинграде, письма присылал часто. А потом фронт подступил к самому городу, и переписка оборвалась. С мамой Саше тоже пришлось разлучиться. Он оказался здесь, в интернате, а мама из Ленинграда уехать не могла, потому что она была военным врачом. На прощание, то выхватывая из кармашка гимнастёрки платок и утирая глаза, то нарочито бодро похлопывая грустного Сашу по плечу, она говорила:

— Вот мы все и врозь... Теперь я каждый день стану ждать твоих писем. Твоих и папиных. Ты ему тоже пиши! Я верю: он откликнется...

Саша посылал отцу письма по старому адресу изо дня в день почти целый год, но ответа всё равно не получал и совсем бы упал духом, если бы не Митя Кукин.

Митя тоже говорил:

— Ничего! Ты, главное, сам пиши. Пиши, пиши, а потом однажды утром встанешь, а на тумбочке у тебя ответ от папы!

И так оно всё и случилось. Прошлой осенью, как раз первого сентября, Саша проснулся, глянул, как всегда, на тумбочку — а там письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!

Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, он обрадовался так, как будто получил письмо сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:

— Ура! Сашкин папка нашёлся! Сашкин папка нашёлся! Он в госпитале раненый лежал!

А потом на душе у Мити сделалось ни с того ни с сего неприятно. Он затосковал, кинулся в тёмный чулан под чердачную лестницу, обнял там связку берёзовых черенков для мётел и заплакал. Заплакал от жалости к себе.

Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдётся. Отец у Мити Кукина никуда не пропадал, он просто умер давным-давно, когда Митя был ещё маленьким.

А вот мать и сестрёнки у Мити живы, но потерялись...

Раньше, до того как случилась война, жил Митя с матерью и двумя сестрёнками Дашей и Машей недалеко от Ленинграда, в совхозе «Дружная Горка», а когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.

Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. Там поезд стоял долго, была жара, всем хотелось пить. Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошёл к водонапорной колонке.

У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались — Митя тоже стал пробиваться к крану. А когда пробился, набрал полный чайник и вернулся на перрон — на том месте, где стоял его поезд, увидел только рельсы, догорающий жёлтым светофор да убегающее пыльное пятнышко вдаль. Поезд ушёл, увёз неизвестно куда маму, Дашу и Машу; и Митя остался один с полуведёрным чайником в руках.

Он как встал у самых рельсов, так и застыл тут столбиком, и не мог от ужаса ни кричать, ни плакать. Он лишь смотрел и смотрел туда, где исчез поезд, и ждал чуда: где-то там, за горизонтом, поезд остановится, мама с сестрёнками спрыгнут и прибегут обратно.



Чудо, может быть, и произошло бы. Мама, конечно, если бы могла, за Митей вернулась. Да весь этот день и второй день с той стороны шли только воинские срочные эшелоны, на сортировочной станции они даже не замедляли хода, а потом голодного и уже мало что понимающего от усталости и тоски Митю подобрали на перроне какие-то тётеньки с красными поясками, и вот он — хотел не хотел — очутился в интернате.

Чайник тоже здесь. В нём разносят чай во время обеда, и малыши называют его «Митин чайник»...

Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет, Саша быстро его разыскал, вошёл в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу всё понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной в пыли куртке и сказал:

— Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои... Тут главное: терпеть и — вытерпеть. Ты же сам так говорил.

2.

Письма Саше Елизарову стали приходить часто, и в один прекрасный день Павла Юрьевна положила на Сашину гумбочку не всегдашний треугольник, а настоящий конверт.

Он был твёрдый, довольно толстый — по всему было видно: в конверте находится что-то очень важное.

Павла Юрьевна, наверное, думала так же. Она положила письмо, стала дожидаться, когда Саша его распечатает. А Саша конверт осторожно разорвал, и оттуда выпала большая, с глянцевым блеском фотокарточка.

Саша так прямо и вцепился в неё. Он ведь столько времени не видел отца, что уже и забывать стал, какое у него лицо, какие глаза. Но как только глянул, так отца узнал сразу, в одну секунду. Узнал, несмотря на то, что на карточку снялся отец не один, а с товарищем, и кроме того, отпустил усы. Небольшие усы, но густые и очень пышные.

Товарищ отца был тоже усатый, но чуть помоложе, и улы-

бался так, что лукавые глаза его совсем защурились, и от них разбегались весёлые морщинки.

Отец с товарищем стояли в обнимку. Стояли не где-нибудь, а на палубе корабля у стального поручня. И по этому поручню, по краешку железной палубы, видной на фотографии, было совершенно понятно: корабль этот — боевой! И стоят на нём Сашин отец и его друг тоже в полной боевой морской форме. Да мало того, что в форме, а на кителе у каждого — орден Красной Звезды.

На другой стороне карточки с угла на угол разбежалась чёткая надпись:

«Враг будет разбит, победа будет за нами! Пусть Гитлер помнит Сталинград, пусть помнит красных моряков на Волге!

Капитан 2-го ранга С. Елизаров.

Лейтенант Н. Бабушкин».

Павла Юрьевна как глянула на фотографию, так сразу похлопала по карману безрукавки, вынула тонкое, в блестящей оправе пенсне, защипнула пружинками переносицу и, отнеся от себя фотографию на всю длину руки, произнесла:

— Ох Саша! Какой у тебя геройский отец... И лейтенант Бабушкин тоже герой, хотя о своих подвигах они ничего и не пишут... Когда станешь посылать ответ, не забудь поздравить с наградой товарища капитана и товарища лейтенанта от всего интерната и от меня лично.

Она положила фотографию, повернулась к окну, почему-то вздохнула и быстро пошла к двери. А Саша крикнул ей:

— Напишу! Обязательно напишу! — А ещё он громко добавил: — Май-о-о!

И это на языке североамериканских индейцев значило «Хорошо! Прекрасно!».

Саша умеет разговаривать не только по-английски, а почти на всех языках всего мира. Правда, из каждого он знает лишь два-три словечка, он вычитывает их из приключенческих книг, но всё равно Павла Юрьевна однажды назвала его полиглотом. Назвала при всех, и все интернатские жители сначала смутились, потому как подумали: слово это ругательное. Но когда Павла Юрьевна объяснила, что так называют людей, знающих много иностранных языков, то и Митя, и все малыши стали уважать Сашу ещё больше.

Ответ на письмо с фотографией Саша послал в тот же день. Передал ли он там капитану Елизарову и лейтенанту



Бабушкину привет от Павлы Юрьевны — неизвестно, а вот про Митю Кукина написал. Он сам прочитал эти строчки Мите вслух. Строчки были такие:

«У тебя есть друг, и у меня есть друг. Его зовут Митя Кукин. Ему десять лет, и у нас с ним всё вместе. И у Мити Кукина никого нет, ни отца, ни матери. А есть у нас заведующая Павла Юрьевна, завхоз Филатыч и петух Петя Петров. Когда был мороз, Митя прятал петуха под своей кроватью, а ещё Митя колет дрова для кухни, носит воду, а я ему помогаю. Так что снять на карточку нас некому, не обижайся».

Капитан второго ранга Елизаров, конечно, не обиделся. Он сам в ответном письме прислал Мите поклон, а лейтенант Бабушкин даже приписал чуть пониже капитанских строчек большими буквами: «Привет тебе, Митя Кукин!»

Митя как увидел приписку, так сразу выхватил письмо из Сашиных рук, отбежал в сторону, прижал письмо к животу и чуть не криком сказал:

— Что хочешь делай, Сашок, а письмо отдай мне! Хочешь, я тебе за него свою новую шапку на твою старую сменяю?

— Не надо мне твоей шапки, — ответил Саша. — Что я, буржуй, что ли, на письмах наживаться? Если надо, так бери..

И вот с тех пор письмо с приветом от Бабушкина Митя носит всегда в нагрудном кармане курточки и перечитывает его не меньше чем по два раза в день: утром после подъёма и вечером перед сном. А когда на сгибах появились дырки, Митя подклеил их варёной картошкой, газетной бумагой и опять аккуратно сложил письмо, и опять убрал в карман.

Митя и сам бы послал лейтенанту Бабушкину письмецо, да начинать переписку первым всё не решался. Писарь он был никудышный, очень боялся наделать в письме ошибок и тем самым испортить у лейтенанта Бабушкина о себе впечатление. Митины успехи за партой не очень-то велики. Он хотя и

старается, и плохих отметок у него почти не бывает, но и хорошие проблёскивают редко.

— Середнячок ты у нас, Митя,—нет-нет да и скажет Павла Юрьевна, когда ставит ему очередную тройку в дневник. Ставит, вздыхает, но тут же спохватывается, начинает утешать: — Ничего, ничего. Пороку способности приходят позже. Так случалось со многими умными и впоследствии очень знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был надёжным. А ты, Митя, человек вполне надёжный. Ты у нас, можно сказать, мужчина в доме! Без тебя с нашим хозяйством мы бы не знали, что и делать...

От таких речей Митино конопатое лицо расцветает, белевые ресницы над зелёными глазами начинают смущённо и радостно трепетать. Ведь всё, что говорит Павла Юрьевна о Митиных заслугах, — правда.

Как только кончится урок, как только Павла Юрьевна поднимет со стола медный колокольчик с надписью «Дар Валдая» и звякнет им, так Митина фигурка в затёртом казённом пальто и в пушистой шапке-ушанке скатывается с крыльца во двор.

А белый двор усыпан по мягкому, подталому снежку рыжими сосновыми иглами. А сосны над головой стоят чуть не до неба. Воздух сладок, свеж, пахнет по-весеннему ветром, и здесь Митя чувствует себя на полной свободе. Он здесь — хозяин положения, и даже сам Саша Елизаров попадает волею-неволей к нему в подчинение.

Митя хватает с поленицы топор, ставит на попа чурбан-кругляш — бац! — бьёт по нему наотмашь, и чурбан разлетается на две половинки.

Саша тоже берёт топор, тоже ударяет по кругляшу, но «бац!» у него не получается. Чурбак как стоял целёхонек, так и стоит, а лезвие топора глубоко вязнет в сырой древесине.

— Кар-р-рамба! — ругается по-иностранному, кажется, по-итальянски, Саша. — Как хоть ты всё это делаешь? Научи!

Митя подсказывает, что лезвие топора надо нацеливать не прямо, а чуть наискосок, что ударять надо резко, без всякого страха. Но Саша всё равно побаивается, удар у него выходит не тот, и в конце концов Митя говорит:

— Ладно... Потом натренируешься. Давай подтаскивай мне чурбаны, я сам переколю. У тебя силы много, да сноровки нет. Это потому что раньше, у себя дома, тебе работать по хо-

зайству не приходилось, а мне приходилось... Зато ты учишься вон как здорово.

И так всегда. Саша первый по книгам, по учёбе, может придумать какую-нибудь развесёлую игру, а Мите больше нравится колоть дрова, откидывать от крыльца снег, таскать из бочки воду на кухню — и всю эту не очень лёгкую, мужскую работу он выполняет с удовольствием.

Снег, сосны, поленница в снегу, стук ведра о край деревянной бочки напоминают ему далёкую «Дружную Горку», напоминают родной дом.

В такие минуты ему кажется, что нет на белом свете никакой войны. Ему кажется, что вот он сейчас обернётся, а по скрипучей снежной тропинке к нему торопливым шагом идёт мать. Она молодая, очень красивая, на ногах у неё чёрные валенки с калошами, на ней узкое пальто и чёрный с алыми цветами плат, а щёки от быстрой ходьбы и зимнего воздуха у неё тоже алые — так и горят.

Мать подходит к Мите, наклоняется, прижимает его лицо к своей щеке, и щека у неё сначала холодная, но быстро становится такой тёплой, что у Мити от этого тепла больно сжимается сердце.

Мать говорит: «Работничек мой! Сейчас тебе помогу».

А следом набегают сестрёнки — Даша и Маша. В длинных шубейках, в толстых платках, они, маленькие и неуклюжие, как медвежата, барахтаются рядом в сугробе, им весело, а потом они кричат: «И мы поможем! И мы!»

Каждый раз на этом месте своих воспоминаний Митя и взаправду видит, как с гамом, шумом, с толкотнёй к нему бегут по тропке малыши — все они в серых одинаковых пальтишках, в одинаковых шапках — и кричат:

— И мы поможем! И мы!

Но эти малыши — не Даша с Машей. И торопится за ними по хрустящему снегу не мама, а Павла Юрьевна. И Митя грустно вздыхает, но потом думает: «Хорошо, что хоть они у меня есть. А потом, может быть, и мама с Машей-Дашей тоже найдутся...»



3.



Охотнее же всего Митя Кукин во-
зится в сарае, который из-за древности
просел на все четыре угла и подслепо-
вато шурится на интернат одним уз-
ким, прорезанным в толстом бревне
оконцем.

Сарай интернатские с гордостью
называют «Наш конный двор!», но жи-
вут на «конном дворе» только белохво-
стый, с обмороженным гребнем петух
Петя Петров и одна-единственная ло-
шадь Зорька.

Зорьку ленинградцам подарил сельский Совет. Подарил
нынешней зимой. Получать Зорьку ходил завхоз Филатыч, и
это событие запомнилось детям надолго.

О том, что Филатыч сегодня должен привести лошадь, де-
ти знали заранее, и все толпились в комнате у девочек возле
двух широких окон, выходящих на поле, на дорогу. Смотрели
на дорогу почти весь день и никак ничего не могли увидеть.

Но вот по вечерней поре, когда солнышко уже садилось
и от закатных лучей снежное поле впереди интерната, крыши
деревеньки на краю поля и вся санная дорога на этом поле
сделались багряными, кто-то крикнул:

— Ой, смотрите! Конь-огонь! — А другой голос подхва-
тил: — Конь-огонь, а за ним золотая карета!

Митя присунулся к окну, глянул и тоже увидел, что от го-
лубого морозного леса по дороге рысью бежит золотой конь.
Он бежит, а за ним не то скользит, не то катится удивитель-
ная повозка. Под вечерним светом она и в самом деле кажет-
ся позолоченной. От неё и от коня падает на багряные снега
огромная сквозная тень, и на тени видно, какая это странная
повозка. Внизу — полозья, чуть выше — колёса со спицами, а
над колёсами — плоская крыша, как это и бывает у всех ска-
зочных карет.

А всего страннее то, что седока в повозке не видно. Конь
по дороге бежит словно бы сам, им никто не управляет.

Дети кинулись в коридор к вешалке, стали хватать пальтишки. Кто-то запнулся, упал. Кто-то из малышей заплакал, боясь опоздать.

А рослый Саша протянул руку, через все головы, сорвал с вешалки свою и Митину шапки, и они первыми выскочили во двор, на холод.

Золотой конь уже приворачивал с дороги к распахнутым воротам. Конь входил в темноватый под соснами двор интерната, и был он теперь не золотым, а мохнато-серебряным. На его спине, на боках, на фыркающей морде настыл иней.

— Тпр-р-р... — донеслось изнутри странной повозки, и повозка остановилась у крыльца, и это оказались всего-навсего обыкновенные сани-розвальни, на которых стояла летняя телега с неглубоким дощатым кузовом.

— Тпр-р-р! Приехали, — повторил голос. Из широких саней, из-под телеги медленно вылез бородатый Филатыч. Лоб, щёки, нос у него от холода полиловели. Маленькие, по-старчески блёклые глазки радостно моргали. Он прикрутил вожжи к высокому передку саней и, заматавая длиннополым тулупом снег, прошёл к голове лошади. Он ухватил её под уздцы, победно глянул на толпу ребятишек и с полупоклоном обратился к заведующей:

— Ну вот, Павла Юрьевна, принимай помощницу. Зовут Зорькой. Дождались мы с тобой, отмаялись!

Он дружелюбно хлопнул рукавицей Зорьку по гривастой шее. Зорька фыркнула, вскинула голову. Павла Юрьевна отшатнулась, на всякий случай загородилась рукой. Она, человек городской, питерский, лошадей немного побаивалась. Но потом укрепила пенсне на





носу потвёрже и медленно, издали обошла Зорьку почти кругом. Встала и, довольно покачивая из стороны в сторону головой, восторженно произнесла:

— Как-кой красавец! Это намного больше всех моих ожиданий... Вы только посмотрите, товарищи! Это же великолепный конь, вы согласны со мною, товарищи?

Она опять повела головой, выставила вперёд ногу в растоптанном валенке и широким жестом показала ребятишкам на Зорьку:

— Согла-асны... — нестройным хором протянули «товарищи», все разом утёрли ослабшие на холоде носы, а Саша Елизаров сказал:

— Буэнос бико! — Это должно было означать по-испански «Славный зверь!».

Филатыч засмеялся:

— Да что ты, Юрьевна! Разве это конь? Это просто кобылка, по-нашему, по-деревенскому, да ещё и жеребая... С приплодом, так сказать.

Павла Юрьевна удивлённо глянула на старика и осуждающе нахмурилась:

— Ну-у, Филатыч... Что за слова? При детях!

— А что «слова»? Хорошие слова... Кобылка — она и есть кобылка. Скоро нам жеребёночка приведёт. Махонького. Гривка и вся шёрстка у него будут мягонькие, пушистые, так и светятся... Жеребёночки завсегда рождаются такими.

Ребятишки, услышав про жеребёночка, счастливо засмеялись. А Митя шагнул к лошади, протянул ей раскрытую ладонь. Лошадь опять мотнула головой, звякнула железными удилами, как бы освобождаясь от уздечки, за которую держался старик. Филатыч узду отпустил, и Зорька ткнулась мягкими губами в ладонь Мити. По ладони пошло тепло. Митя так весь и задрожал от радости и ответной нежности, а Филатыч удивился:

— Вот так да! Признала мальчика... А мне сказали: «Маленьких она любит не шибко». Ну что ж! Если разрешит начальство, быть тебе, парень, в конюхах, в моих заместителях. А то я один-то теперь не управлюсь.

Митя, не отнимая от Зорькиных губ ладони, с такой надеждой и мольбой глянул на «начальство», на Павлу Юрьевну, что она сразу закивала:

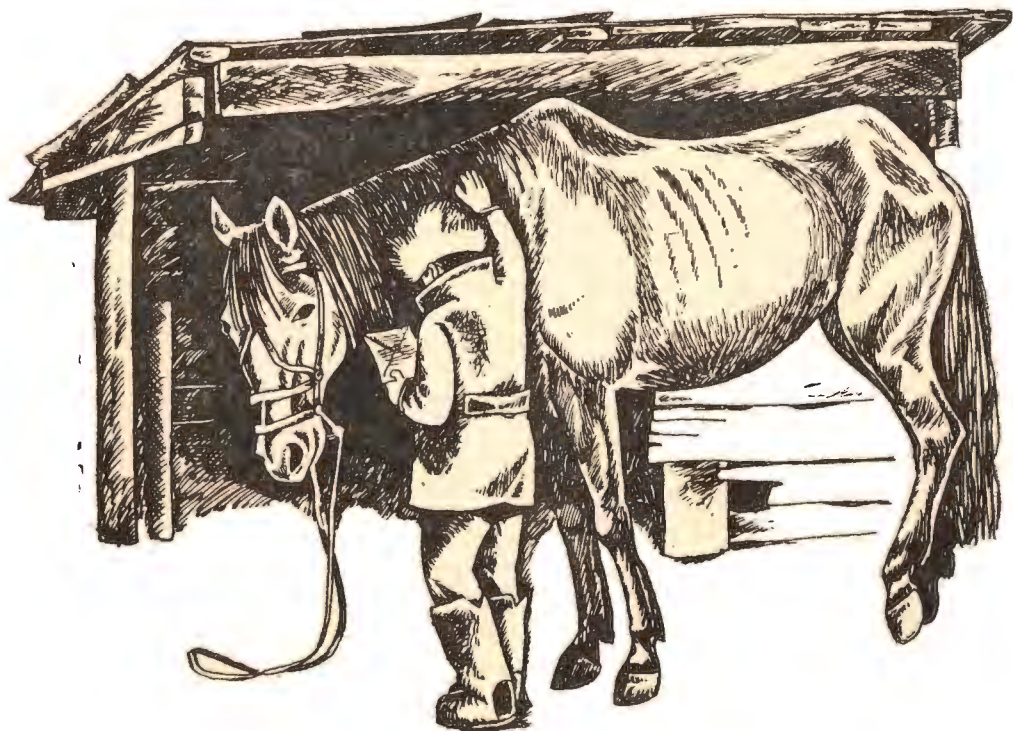
— Да, да, да! Пусть будет, пусть будет. Я всегда говорила, Митя Кукин человек надёжный, и лошадка это, видно, тоже почуяла.

Вот так и началась Митина дружба с Зорькой, которая сразу стала самой настоящей кормилицей и поилицей всего интерната. На Зорьке возили дрова, воду, на ней ездили на полустанок Кукушкино в пекарню за хлебом и там же, на полустанке, забирали почту.

Раньше всё это Филатыч доставлял в интернат с великим трудом на случайных колхозных подводах, а теперь лошадь была своя, и хозяйственные дела у Филатыча пошли веселее.

А дел у старика было полно. Он не только ездил в Кукушкино, он выхлопывал в дальнем леспромхозе для интерната лес на топливо; подшивал ребятишкам «горящую, как на огне», обувь; чинил столы, скамейки, парты; латал обрезками фанеры и тонкими дощечками разбитые окна — и как он со всем этим управлялся, понять было невозможно. Ведь у него и у самого в деревне было какое-то хозяйство.

Это он в первую военную, страшную, тяжёлую зиму, ког-



да отошавших ребятишек чуть ли не качало ветром, а Павла Юрьевна совсем было слегла, — это он, старый Филатыч, можно сказать, спас от гибели весь интернат.

Он сам, вместо Павлы Юрьевны, дошёл до всего сельского начальства, и в интернат стали каждый день безо всяких перебоев отпускать из колхоза молоко и прислали овощей для приварка. А пока шли хлопоты, Филатыч в котомке перетаскал из дому, из деревни, в интернат почти все собственные запасы картофеля и поддерживал этим картофелем ребятишек до тех пор, пока не наступили времена получше.

Когда же Павла Юрьевна сказала, что за картошку интернат ему заплатит, то Филатыч страшно рассердился:

— Не выдумывай, не возьму... Это я, считай, в фонд обороны внёс. Наши деревенские на целый боевой танк собрали, я тоже на танк вносил. Так что, мне теперь и за это денег требовать? Эх ты, Павла Юрьевна! А ещё питерская... Обижает, матушка, меня.

Павла Юрьевна даже покраснела:

— Простите, ради бога! Я ведь только и хотела сказать,

что вам тяжело со всеми нашими делами одному управляться.

— Как-нибудь управлюсь, — отмахнулся Филатыч.

Но всё равно он обрадовался, когда ему стал помогать Митя Кукин. Завхоз увидел, как ловко и заботливо тот ухаживает за лошадью, наделяет её сеном, поит, чистит, научил мальчика ещё и запрягать её, а потом стал брать Митю с собой в поездки и даже отпускать в недалёкий путь одного.

Запрягать Зорьку было не очень трудно. Она сама помогала Мите. Она сама продевала голову с поджатыми ушами в подставленный хомут, а потом голову вскидывала — и хомут оказывался у неё на груди, на месте. Только вот затягивать хомут супонью — тонким ремешком — было труднее. Тут надо было, стоя на земле, на одной ноге, другую упираться в клешню хомута и тянуть ремешок изо всех сил на себя, а росту для этого у Мити не хватало. Даже у Саши не хватало. Но и тут Митя приспособился. Он стал подкатывать к лошади чурбан и управляться с этой подставкой.

И вот копошится Митя возле лошади, закладывает ей на спину войлочный потник и седёлко, лезет за пряжкой подпруги под круглое, как бочка, очень тёплое, всё в крупных, выпуклых жилках брюхо — и Зорька не шелохнётся. Она терпеливо ждёт, лишь подрагивает от щекотки всей кожей и доверчиво косит на Митю добрым блестящим глазом.

Рядом с ней Мите хорошо. Митя разговаривает с Зорькой и чувствует, что лошадь понимает его. Он даже показал ей однажды и прочитал вслух письмо с приветствием от лейтенанта Бабушкина, и Зорька бумагу обнюхала, одобрительно фыркнула, мотнула головой. А когда Митя рассказал ей про сестрёнок и про маму, то Зорька положила ему на узенькое плечо свою тёплую морду, тихо щекотнула губой Митино ухо и вздохнула вместе с мальчиком.

4.

В один из мартовских деньков Митя собрался к ручью по воду. Собрался он вместе с Сашей, а ещё за ними увязался самый маленький житель интерната — мальчик Егорушка. Был уже полдень. С южной стороны крыш капало, тон-

кие сосульки отрывались от карниза и со звоном шлёпались в мелкие лужицы на утоптанном снегу. Интернатский петух Петя Петров ходил вокруг лужиц, любовался на своё отражение, хлопал крыльями и восторженно орал. Ему откликались через дорогу, через поле деревенские петухи.

Митя вывел из конюшни Зорьку, впряг её в оглобли, не спеша запряг. Потом вскочил в сани, утвердился на широко расставленных ногах между пустой бочкой и передком, дёрнул верё-



вочными вожжами и так подкатил к школьному крыльцу. Саша и путающийся в длинном пальто Егорушка подбежали следом.

Они несли вёдра.

С крыльца спустился Филатыч в красной распоясанной рубашке, с рубанком в руках. Свободной ладонью он ощупал на спине Зорьки войлочный потник, проверил, удобно ли потник положен, подёргал тугой ремень чересседельника, посмотрел на лужи, на солнышко.

— Теплынь! Надо бы нынче кручью самому съездить. Как бы не разлилось... Ты, Дмитрий, вот что: ты на лёд нынче лошадь не загоняй, а встань с бочкой на берегу. Понял? Ну вот и ладно... Завтра проверю сам, а сегодня времени нет.

Саша с Егорушкой бросили вёдра в сани, вскарабкались верхом на бочку; Митя, радуясь, что едет за главного, без Филатыча, громко чмокнул губами, и Зорька легко, рысцой понесла сани по дороге.

Водовозная дорога сразу от школы уходила в лес. Она ныряла под мощные корабельные сосны, снег под ними был ещё по-зимнему чист и крепок. В лесу держалась прохладная тень, но там, где прямые, с тёмно-коричневыми, словно пригорелыми, низами деревья разбегались просторней, всю тенькали синицы. В голубом прогале неба ласково и призывно куркал одинокий ворон. А ещё выше, в самой бездонной синеве, громоздились белыми башнями невесомые, почти неподвижные облака.

— Шарман! — сказал, сидя на бочке и задрав голову, Саша, и это должно было означать по-французски «Красота!».

А Егорушка тоже огляделся, потянул носиком сосновый воздух, распахнул ещё шире и так всегда изумлённые ореховые глаза и сказал:

— Хорошо-то как... — Потом подумал и добавил: — А у меня завтра день рождения!

Митя, который стоял в передке саней и держал вожжи, сразу обернулся:

— Сочиняешь, Егорушка? Опять?

Митя знал за ним такой грех. Егорушка попал в интернат совсем маленьким, не помнил, когда у него день рождения, и придумывал его себе на неделе по три раза. Но теперь Егорушка замотал головой и сказал:

— Нет, не опять. Это я раньше сочинял, а нынче Павла Юрьевна сама сказала. Мне, знаешь, сколько будет? Вот сколько!

Егорушка выпростал из длинных рукавов пальцы, отсчитал шесть и высоко поднял обе руки.

— Ого! — сказал Саша. — По-английски это будет — сикс. Выходит, тебе подарок надо.

— Надо! — радостно согласился Егорушка. — А какой?

— Ну вот, сразу «какой». Поживём — увидим. Потерпи до завтра.

— Потерплю, — ответил сговорчивый Егорушка. — До завтра терпеть недолго.

А Митя не вытерпел. Шевельнул вожжами, опять обернулся:

— Хочешь, Егорушка, я тебе дудочку сделаю? Ивовую, на два голоса. Я это, брат, ловко умею. Вот приедем к ручью, выломаю подходящий прут и дома вечером сделаю.

— Сделай! — оживился Егорушка, поднёс к губам воображаемую дудочку: — Тир-ли, тир-ли, тир-ли!

Мальчики засмеялись. А Зорька топала да топала по узкой дороге, и вот корабельные сосны кончились, дорога сбегала по некрутому склону вниз и пошла по долинке, заросшей ивняком и ольховником.

Мартовскому солнцу тут раздолье. Ветер в долинку почти не залетает, тени от кустов прозрачны, и внешнее тепло проникает всюду. Сугробы во многих местах уже протаяли до болотных кочек, а на ивовом прутье надулись глянцевые почки. Они вот-вот лопнут, и тогда по тонким веткам разбегутся, рассыдутся, как цыплята, ярко-жёлтые пушистые соцветия.

Егорушка напоминает:

— Митя, прутик не забудь сломить.

— Не забуду, — говорит Митя, останавливает лошадь и прыгивает в снег. Он топчется под ивой, сгибает упругую ветку.

Митины следы сразу темнеют, набухают водой.

— Надо бы надеть кирзовые сапоги, — думает вслух Саша.

А Митя сламывает прут, внимательно осматривает его и опять залезает в сани.

Когда подъехали к ручью, то увидели, что за прошедшие сутки там ничего не изменилось. На широко раздавшемся в этом месте ручье, на льду по-прежнему лежит ровным слоем снег, по нему тянется накатанный санями подъезд к проруби; а с той стороны, от густых ельников, к проруби-оконцу протоптана узкая тропа. Её пробили за зиму лося, они ходят сюда на водопой.

Мальчики, как наказывал Филатыч, оставили Зорьку на берегу, взяли вёдра, побежали к оконцу. Здешний берег был низкий, почти вровень со льдом, и они сразу увидели, что самая кромка льда и снег на ней — мокрые. Но влажная полоска растянулась нешироко, и её перескочил даже Егорушка.

Вокруг проруби снег тоже был сырой, жёлтый. А в самом отверстии вода, как в ледяном колодце, поднялась до краёв, и вот это было уже большой новостью. Раньше вода стояла гораздо ниже.

— Я говорил, промочим валенки, — опять сказал Саша.

— Ничего. Приедем — высушим. Ты, Егорушка, в мокрое не лезь, — сказал Митя и далеко перегнулся, поддел ведром красноватую, с болотным запахом воду.

— Ещё вчера была чистая, а сегодня уже нет, — удивился Егорушка.

— Торфяники оттаивают, — догадался Митя и почерпнул второе ведро. Он передал его Саше. Мальчики, тяжело нагибаясь, потащили вёдра к берегу. Егорушка, размахивая длинными рукавами, засеменил сзади.

Мокрую полоску у берега перепрыгнуть с полными вёдрами не удалось, прошлёпали напрямую. Потом выбрались к бочке и опрокинули вёдра над широкой прорезью. Вода с шумом ухнула в тёмное круглое нутро. Саша сунул туда голову, посмотрел:

— Едва донышко скрыло, охо-хо...

— Первый раз наливаешь, что ли? — засмеялся Митя и побежал обратно.

Сходили они так, от берега к проруби и от проруби к бе-

регу, пять раз. Все уплескались, в сырых валенках стало хлюпать, воды в бочку принесли десять вёдер, а надо было пятьдесят.

Саша опять заглянул в прорезь, опять вздохнул:

— Так до вечера будем таскать!

Митя отпыхнулся, спросил:

— А что делать?

— Давай подгоним Зорьку к самой проруби, как всегда.

— Что ты! Филатыч не велел.

— Не велел, не велел, — недовольным тоном передразнил Саша. — Он не велел, если лёд слабый, а лёд не слабый. Вон сколько раз ходили туда-сюда, он даже и не шелохнулся.

— Это под нами не шелохнулся, а под лошадьё, может, и шелохнётся. Что тогда?

— Пустяки! — сказал Саша. — Глянь!

Он перепрыгнул мокрую закраину и стал изо всех сил подскакивать на ледовой зимней дороге. Снег, уплёсканный из вёдер, просел под ним, но дальше Саша не проваливался.

— Слышишь? Гудит даже! Во, какая крепчина... Поехали!

— Поехали, — махнул рукой Митя. Ему и самому не хотелось таскать вёдра с водой так далеко.

Но Зорька на лёд не пошла. Она остановилась у самой закраины, неудобно налегая на хомут, опустила вниз длинную морду, втянула тёмными ноздрями запах талого снега, всхрипнула и резко попятилась.

— Бойтся. Не пойдёт, — сказал Митя и бросил вожжи в сани.

— А ты её за узды, за узды! Она за тобой пойдёт. Она тебя слушается, — посоветовал Саша.

Егорушка тоже поддакнул:

— Она тебя, Митя, всегда слушается. Она за тобой пойдёт.

Митя взял Зорьку под узды и, подражая Филатычу, заприговаривал:

— Ну что, Зоренька? Ну что, матушка? Ну что боишься? Пойдём, голубонька моя, пойдём...

И Зорька пошла.

Саша закричал по-американски: «О'кей!», Егорушка засуетился на берегу, замахал рукавами: «Пошла, пошла!», а Митя уже перескочил мокрую закраину и, пятясь, отставив

туго обтянутый серыми штанцами задок, тянул Зорьку за собой.

Он не давал ей опустить голову, глянуть вниз, и Зорька вдруг вся как-то странно, по-собачьи присела, ржанула и мощным прыжком ринулась вперёд.

Митя успел увидеть летящую на него мускулистую лошадиную грудь, край хомута, торец оглобли, но тут его ударило этим торцом прямо в лоб, он полетел, прочертил щекой по зернистому снегу, и в глазах у Мити потемнело.

Он услышал рядом такой треск, будто весь белый свет начал колотиться на куски и падать вниз, рушиться. Где-то у самых ног зашумела вода, жутко заржала лошадь.

«Тонем!» — подумал Митя и забился, забарахтался. Но голые пальцы хватали не воду, а холодный мокрый снег. Он сжал сочащийся ком, притиснул к лицу — в глазах стало проясняться. Митя, шатаясь, поднялся.

Белый свет оставался белым. По-прежнему светило солнце. Но в трёх шагах от Мити, у самого берега, зиял бурый, бурлящий пролом, и там в ледяном крошewe билась Зорька.

Вода, перемешанная с торфяной грязью, летела во все стороны, она была Зорьке выше груди. Лошадь старалась подняться на дыбы, вскинуть передние ноги в шипастых подковах на кромку льда, но сани с бочкой пихали её оглоблями, прижимали к ледяной кромке, и она всё никак не могла выпростать ноги из-под этой кромки, лишь билась об неё хомутом, грудью, коленями, обрезалась до крови.

На берегу заполошно бегали Саша с Егорушкой. Они то хватались за сани и пытались тянуть их, то бежали смотреть на рвущуюся из оглобель Зорьку, а потом опять принимались тянуть сани, да силёнок не хватало.

Митя стоял на захлёстанном грязью льду и с ужасом видел, что лошадь тоже смотрит на него.

Метаться она перестала, только вся вздрагивала. Вода шла вокруг её шеи крутыми воронками, Зорька тянула к Мите мокрую морду, и огромные, от страха косящие глаза её, как показалось мальчику, были в слезах.

И тут Митя заплакал сам. Шлёпая по мокрому снегу, он побежал на берег.

— Спятить надо Зорьку, спятить! — захлёбываясь от горя и слёз, крикнул он Саше с Егорушкой, зашарил в санях, стал искать вожжи, чтобы спятить Зорьку, но вожжей в санях

не было. Они давно соскользнули в воду, и Зорька замяла их под себя.

Митя повалился лицом на бочку, на руки:

— Ой, что делать-то-о? Ой, беги, Сашка, к Филатычу!

— Что ты! — испуганно сказал Саша. — Лучше давай сами как-нибудь.

— Не сможем сами, не сможем... Давай беги!

Саша затоптался. Нести к Филатычу свою повинную голову, да ещё в одиночку, ему вдруг стало страшно, и он сказал:

— Пусть Егорушка бежит. Он на ногу лёгкий, в два счёта домчится.

— Точно! В два счёта домчусь! — пискнул Егорушка и, обрадованный тем, что хоть как-то да может помочь в беде, припустил по дороге к интернату.

Митя поднял голову, посмотрел вслед Егорушке, вздохнул и побрёл на лёд.

Тёмная вода по-прежнему бурлила вокруг лошади. Наверху виднелась только прядущая ушами Зорькина голова под дугой да широкая мокрая спина со сбитым набок седёлком. Зорька теперь даже и не дрожала — её всю било и трясло, нижняя губа у неё ходила ходуном, обнажая жёлтые, сильно стёртые зубы.

— Простудится, — опять всхлипнул Митя. — Сама на смерть простудится и жеребёночка застудит. Давай, Сашка, хоть как-нибудь её распряжём, что ли... Может, без саней она и выскочит?

— Может, и выскочит, — развёл руками Саша, — да как её распряжешь? Сам под лёд ухнешь.

— Пусть! Пусть ухну! Так мне, дураку, и надо, — перестал плакать Митя и вдруг изо всех сил дрыгнул ногой, сошвырнул один валенок, сошвырнул второй, стянул с плеч и бросил пальто и, медленно переступая по льду в толстых вязаных носках с розовыми дырками на пятках, стал подходить к лошади.

Саша подобрал Митино пальто, да так с пальто в руках и стоял, растерянно смотрел, что будет дальше.

А Митя пригнулся, напружинился и прыгнул. Он упал животом на Зорькину спину, Зорька присела. Митины руки и ноги оказались в воде. Но Митя так и остался лежать попе-

рѣк лошади и стал распутывать руками в бурлящем потоке широкий чересседельник, завязанный вокруг оглобли.

— Упадёшь, — пробормотал Саша, а Митя уже распутал чересседельник, развернулся на спине лошади, сел на неё верхом и, обняв за дрожащую, мокрую, но тёплую шею, опять опустил руку по самое плечо в ледяную воду и начал шарить по Зорькиной груди, по низу хомута — искать ремешок супони.

Зорька сразу поняла, что к ней пришла помощь. Не рвалась, не ржала, а только тихо и протяжно постанывала.

Ремешок супони раскис, разбух. Митя на ощупь тянул его, рвал ногтями. Рука от холода онемела, рубаха с этой стороны намочила до самого ворота, но вот ремешок поддался, клешни хомута разомкнулись.

Зорька дёрнулась, яркая, расписная дуга вылетела, и ладно, Митя успел вцепиться в жёсткую конскую гриву, а то упал бы вслед за дугой в тёмный поток.

Саша со стороны увидел, как Зорька мощно вздыбилась, раз-



вернулась на задних ногах и, обрушивая с себя сверкающую на солнце воду, с висящим на гриве Митей вымахнула на лёд. Она проломила его, опять прыгнула и вот уже, хромая и волоча за собой вожжи, выбежала на берег.

Там она остановилась. Митя скатился вниз и кинулся осматривать Зорьку. Дышала она шумно и тяжело, ноги её дрожали. Вода капала с длинного хвоста, с гривы, под раздутым животом нелепо висело седёлко.

— Прости меня, Зоренька, прости, — опять было заплакал Митя, да тут подбежал Саша, подал валенки, пальто, сказал:

— Оденься.

Потом бодрым голосом добавил:

— Вот видишь! За Филатычем можно было и не посылать. Если бы не послали, никто бы ничего и не узнал.

— Ну, д-да... Ф-фиг бы не узнал... — едва выговаривал Митя, его самого трясло не меньше Зорьки.

6.

А Филатыч был уже близко. До смерти перепуганный Егорушкой, который ворвался в школьную столярку и не своим голосом завопил: «Зорька тонет! Зорька тонет! Одну дугу видно!» — старик только и успел, что накинуть на себя полушубок да схватить у школьной поленицы длинную жердь, и так вот, без шапки, и бежал с этой жердью по дороге.

Старик бежал небыстро, ему не хватало воздуха. А Егорушка трусил рядом, всё наговаривал:

— Митя не хотел, а Сашка сказал: «Поехали!» Митя не хотел, а Сашка сказал: «О'кей!»...

Филатыч на Егорушкины ябедные слова не отзывался, не мог. Только выбежав из леса в долинку и увидев на берегу распряжённую лошадь, сказал не то с облегчением, не то с испугом:

— Ох!

Но ходу старик не убавил, а как бежал, приседая на ослабших ногах, так на той же медленной скорости и подбежал к лошади.

На мальчиков он сначала и не взглянул. Он обежал, оглядел мокрую Зорьку, кинул ей на спину свой полушубок, а потом наклонился и увидел её сбитые, сочащиеся кровью ноги.

Увидел, весь побагровел, шея и лицо стали у него почти такими же красными, как его распоясанная рубаха, и он медведем пошёл на мальчиков.

— Ах-х, вы... — занёс он высоко руку, и Митя покорно сжался, а Саша отпрыгнул, побледнел и, словно отодвигая от себя старика ладонями, замахал ими, забормотал:

— Но, но, но... Вы не очень! Мы ведь не нарочно.

— Ах, не нарочно! Ах, не нарочно! — дважды проревел Филатыч и опустил руку, и кинулся к Зорьке, отстегнул вожжи, согнул их вдвое, вчетверо и — вытянул Сашу пониже спины.

— Вы что! — взвизгнул Саша, отбежал и, держась рукой за то место, закричал: — Драться, да? Драться? Не имеете права! Я отцу напишу! Он вам покажет! Он капитан, а вы... А вы эксплуататор!

— Кто? — изумлённо раскрыл рот Филатыч и даже бороду с засевшей там стружкой выставил вперёд.

— Эксплуататор!

— Это почему же? — ещё больше изумился Филатыч.

— Потому что дерётесь... Трудящихся бьёте.

Филатыч опомнился, опять встряхнул вожжами:

— Ах, вот оно что! Трудящих бью... Да будь ты моим родным внучонком, я бы тебе ещё и не так ижицу прописал! Я бы тебе показал эксплуатацию трудящихся... Вон по твоей трудящей милости лошадь-то колотит всю. Насквозь простыла. А она ведь мать! От неё жеребёнка ждали.

Митя с Егорушкой, услышав про жеребёнка, заревели в голос. Филатыч хотел им тоже сказать что-то этакое, да взглянул на Митину мокрую одежку, на Митину испуганную физиономию, махнул рукой и взялся за бочку.

Он качнул её раз, другой — бочка, накренив сани, расплёскивая с таким трудом намошенную воду, покатила на снег.

Не дав мальчикам и подступиться к саням, Филатыч сам выдернул их из-под берега, сам подцепил жердью не успев-

шую уплыть под лёд расписную дугу и стал запрягать Зорьку. Делал он это всё молча, лишь сказал лошади:

— Но, милая... Трогай потихонечку к дому, трогай.

Бочка осталась на берегу. Старик, придерживая длинные вожжи, пошёл за пустыми санями.

Митя робко поравнялся с ними, потянулся к вожжам:

— Дяденька Филатыч... А дяденька Филатыч... Давайте я.

Но Филатыч на мальчика даже и не посмотрел. Он сказал сердито:

— Отойди. Снимаю я тебя с лошади. Старших не слушаешься, приказу не подчиняешься...

7.

Во двор интерната въехали, как с похорон. За пустыми санями шёл хмурый Филатыч, следом плелись Митя с Егорушкой, а позади всех, задрав кверху голову, шагал крепко обиженный Саша.

У самого крыльца тюкали деревянными лопатами, проводили ручьи интернатские малыши, им помогала Павла Юрьевна. Она увидела медленную процессию, удивилась:

— Филатыч! Что за странный вид? А где бочка? А где у вас шапка? Ничего не понимаю.

Старик повернул Зорьку к воротам конюшни, буркнул:

— Что наш вид? Вы лучше на лошадь гляньте, на ноги. Вот там — вид.

Павла Юрьевна глянула и ахнула. Ребятишки тоже ахнули, повалили толпою вслед за санями. Егорушка, размахивая руками, с ужасом и восторгом округляя свои ореховые глаза, принялся рассказывать малышам подробности.

А Саша с Митей — боком, боком — взошли на крыльцо, шмыгнули в сени, в раздевалку, смахнули прямо на пол мокрые одёжки и валенки, а потом кинулись в тёплую, по-вечернему сумеречную спальню. Дальше им от своего несчастья бежать было некуда.

Летом, конечно, можно удрать в лес, в поле, бухнуться там в траву и вырвать всё своё горе до самого доньшка, а по снежной поре куда побежишь? Некуда. Только в спальню.

Только и утешения, что забиться под одеяло и лежать там в душной тьме, и вздыхать, и хлюпать потихоньку носом, жалеть себя так, как никто никогда не пожалеет; но всё равно ждать, что вот не вытерпит Павла Юрьевна, подойдёт, тронет тебя за плечо и негромко скажет: «Ну, ладно, ладно... Надеюсь, это в последний раз».

Но когда Павла Юрьевна в спальню прибежала, то сказала совсем другое. Она перепуганно крикнула:

— Мальчики, вы тонули? Вы искупались, мальчики?

Митя зашмыгал носом ещё шибче, кивнул под одеялом головой, а Саша, тоже из-под одеяла, пробубнил:

— Это не я искупался, это он искупался... Он Зорьку спас.

Про вожжи, про Филатыча Саша решил молчать. Ему было противно думать про эти вожжи, не то что говорить, и он только повторил из-под одеяла:

— Это я Зорьку чуть не утопил, а Митя — спас!

Но Сашино рыцарское признание Павла Юрьевна как будто бы и не слышала. Она смахнула с мальчиков одеяла, пощупала сухой прохладной ладонью Митин лоб, затем Сашин лоб и по-докторски сказала:

— Внутрь — аспирин, к пяткам — грелки, и два дня — вы слышите? — два дня лежать в постели.

— Как два дня? — всколыхнулся Митя. — А Зорьку лечить? Ей надо ноги забинтовать и внутрь тоже чего-нибудь надо!

— Лежи, лежи, — сказала Павла Юрьевна, а в приоткрытую дверь спальни просунулись малыши и запищали:

— Её уже лечат! Сам Филатыч бинтует... Ох, он там и руга-ит-цаа! Говорит, кому-то отвечать придётся!

— Вот видите, что вы натворили, — уже не по-докторски, а тихо, по-домашнему произнесла Павла Юрьевна. — Остаётся вам ещё заболеть — тогда совсем ужас.

Она заставила мальчиков проглотить по горькой таблетке, сама принесла с кухни две горячие резиновые грелки и две кружки тёплого молока. Молоко она поставила на тумбочку, грелки сунула мальчикам под ноги и, выпроваживая набежавших в спальню малышей, кивнула Мите с Сашей от двери:

— Лечитесь. Обо всём завтра поговорим.

Дверь закрылась, и Саша вдруг соорудил неприятную рожицу, сделал вид, что поправляет на носу, как Павла Юрьевна, пенсне, и вслух передразнил:

— Во-от видите, что вы натворили, мальчишки...

Он спустил ноги с кровати, хлопнул кулаком по подушке:

— Эх, Митька! Ухожу я отсюда! Больше нет никакого моего терпения.

— Куда? — удивился Митя и тоже сел.

— На флот, Митенька, на флот! К папе на корабль. А здесь пускай Филатыч других вожжами порет, только не меня... Не могу я его больше видеть.

— Ты что? — удивился ещё больше Митя. — Он тебя вовсе и не порол... Он тебя только шлёпнул разок, да и то сгоряча. Меня, знаешь, как мама шлёпала?

— То мама, а то Филатыч. Нет, всё равно, Митька, я убегу.

Саша лёг на кровать, закинул руки за голову, призадумался, потом опять сел и зашептал, косясь на дверь:

— Ведь меня, Митя, теперь задразнят. Егорушка всем разболтает про вожжи.

— Пусть болтает. Егорушка всегда что-нибудь болтает. Он маленький. А за тебя Павла Юрьевна вступится.

Всту-упится? Дождись! Она сама Филатыча боится, всё ходит за ним да приговаривает: «Ах, какой вы умелый! Какой вы старательный! Ах, как это вы всё успеваете!» Станет она из-за меня с Филатычем ругаться... Фигушки!

— Если надо, станет. Она справедливая.

— Справедливая? А когда я сказал, что ты лошадь спас, она что ответила? Ничего! Только таблетку сунула! А вот погоди, когда Филатыч тебя и в самом деле не допустит до лошади, так Павла и пальцем не шевельнёт. Скажет: «Зорькой Филатыч распоряжается, ему и решать!»

Последние слова прозвучали убедительно. Митя испуганно притих. А Саша так раскипятил себя, так раскипятил, что уже и взаправду верил: нет ему другого выхода, как бежать. Бежать к отцу.

Ему как-то и в голову не приходило, что отец отсюда за сотни километров. В голове у него ясно и почти осязаемо вставали только две картины: вот этот интернат с обидчиком Филатычем — и вот красавец корабль с улыбчивым, добрым отцом. Длинные километры не имели никакого значения. Надо

бежать, бежать, бежать — и прибежишь прямо на отцовский корабль, прямо на капитанский мостик.

Не пешком, конечно, бежать. Саша понимал, что бежать — это значит ехать на поезде. Но и поезд ему рисовался уже где-то рядом с великолепным кораблём. Главное было сейчас уйти из интерната, добраться до полустанка Кукушкино. А полустанок всего в двух часах пешей ходьбы — в общем, тоже пустяк! План созрел вполне ясный. Нужен только попутчик, одиночества Саша ни в чём не терпел. Он сполз на самый край постели, протянул через проход руку, дотронулся до Мити:

— Давай вместе, а?

Митя, занятый грустными думами, не понял:

— Что вместе?

— На корабль. К папе.

— Нужны мы там! Ерунда всё это.

— Ничего не ерунда! Мы там, знаешь, кем станем? Юнгами станем. Бескозырки выдадут и ремни с пряжками... А там, глядишь, и винтовки дадут.

Митя насторожился, поднял голову:

— Лучше бы автоматы...

— Что же, можно и автоматы. Отличимся в боях, дадут и автоматы. Да что автоматы? К пулемёту приставят! Как в песне: «Так-так-так! — говорит пулемётчик. — Так-так-так! — говорит пулемёт». Драпанём, Митька, а? Драпанём?

Митя промолчал, но Сашины уговоры начали на него действовать. У Мити у самого на душе скребли кошки. Правда, обиженным он себя не считал, да зато из головы не выходили слова, выкрикнутые Филатычем на берегу возле дрожащей Зорьки: «От неё ведь жеребёнка ждали!» А «ждали» — это совсем не то, что «ждём». «Ждали» — это значит: ждали, да не дождались, и жеребёночка теперь никогда не будет.

И жеребёночка не будет, и сама Зорька, если заболит, пропадёт, и за всё это придётся отвечать ему, Мите Кукину. Филатыч, слышь, так и говорит: «Отвечать кому-то придётся... А кому? Ясно, кому. Безо всяких объяснений понятно.

Мите вдруг вспомнился здешний, из районного села, однорукий милиционер Иван Трофимович, который иногда, по пути, заводит в интернат почту и каждый раз по настоящему приглашению Павлы Юрьевны выпивает на интернатской кухне огромную кружку чая с маленьким кусочком саха-

ра. Сахар в интернате — драгоценность. Крохотный кусочек — весь дневной паёк Павлы Юрьевны, и гостю это известно. Кусочек он берёт деликатно, двумя пальцами, и, топорща рыжие жёсткие усы, откусывает от кусочка чуть-чуть.

Потом он кружку перевёртывает, кладёт на неё так и не съеденный сахар, поднимается, оправляет единственной рукой ремень с кобурой и говорит Павле Юрьевне басом: «Спасибочки! Премного благодарен за угощение!»

Вот этот милиционер Иван Трофимович и встаёт теперь в Митином воображении. Мите видится он не на кухне, а на высоком интернатском крыльце. Вокруг крыльца стоят все интернатские мальчики, все девочки, стоят Павла Юрьевна с Филатычем. Вид у всех скорбный. А Иван Трофимович выводит его, Митю, из школы на крыльцо. Кладёт на Митино плечо тяжеленную ладонь и приказывает на всю улицу: «Ну, Митя Кукин, отвечай теперь за свой проступок перед всем честным народом!» И Митя отвечает. Он утирает ладошкой слёзы, кланяется с крыльца на три стороны и трижды говорит: «Прости, народ честной! Прости, народ честной! Прости, честной народ...»

Митя даже головой помотал, чтобы прогнать эту жуткую картину, а потом взял кружку с молоком, разом выпил и, не вытерев молочных усов, с полун надеждой, с полусомнением спросил:

— Да-а, ты-то вот к отцу побежишь, а я к кому?

Саша оживился:

— Так к лейтенанту же Бабушкину! Он же тебе привет прислал! Он тебе и тогда привет прислал, и ещё, может быть, собирается прислать. Но в случае чего отец и двоих примет. Жалко, что ли?

И, чтобы не дать Мите отступить, Саша пустил в ход запретный, но верный приём. Он отвернулся, нарочито громко вздохнул:

— Что ж, конечно... Если трусишь, я тебя не зову.

Этот коварный вздох решил всё. Принять обвинение в трусости Митя не мог. Он подумал, помолчал и тихо произнёс:

— Ладно. Как ты, так и я. Когда бежать-то?

Бежать решили в самую полночь, когда первый раз пропоёт петух Петя Петров.

— Нет лучшего сигнала для побега, чем петушиный крик, — сказал Саша.

А перед тем, как интернат уснул, перед самым отбоем, к ним в спальню приходил Филатыч. Они слышали его, но не видели. Ещё до того, как открылась дверь, они закутались в одеяла с головой, притворились крепко спящими. Филатыч потоптался у кроватей, поскрипел половицами, сказал негромко вслух:

— Пушай спят, завтра поговорю! — и ушёл.

— Слыхал? — высунулся наружу Саша. — Слыхал? Завтра опять с ним беседовать придётся.

— Отвечать придётся, — вздохнул Митя и теперь сам сказал: — Скорей бы Петя Петров пропел.

А потом Саша и Митя лежали под одеялами и слушали, как дежурные принесли в спальню и поставили им на тумбочку ужин; потом слушали, как в спальню пришли все остальные мальчики и, стараясь не мешать «больным», стали потихоньку укладываться. Видно, Павла Юрьевна их строго предупредила, а то бы ещё целый час тут раздавались писк, возня. Малыши бы шлёпали друг друга по головам подушками, кисли от смеха, перебегали с кровати на кровать, а потом бы вдруг кто-нибудь сказал: «А вот у нас дома до войны...» — и все бы сразу притихли, но всё равно долго не спали — почти не дыша, не перебивая, слушали...

Но сегодня все утомонились быстро. Только в ближнем от Мити углу немножко пошептался с соседом Егорушка.

— У меня завтра день рождения. Мне Митя дудочку обещал сделать.

— Какой тебе день рождения! — ответил сердито сосед. — Какая тебе дудочка, когда кругом больные! И Митя болен, и Саша болен, и Зорька в конюшне стоит под тулупом больная.

Егорушка озадаченно помолчал, подумал, потом почти громким голосом сказал:

— Так ведь день-то всё равно будет!

— Будет, будет, — согласился сосед. — Молчи, а то Павла Юрьевна придёт.

Малыши затихли, но Егорушка ещё долго ворочался, видно, переживал: будет у него завтра день рождения или опять не получится?

Митя тоже переживал. В голове у него теперь всё перепуталось: и Зорька, и жеребёночек, и Егорушкина дудочка, и далёкий корабль. Митя устал от этих переживаний и незаметно уснул.

Сколько он проспал — неизвестно. Может, три минуты, а может, три часа. Разбудил его Саша.

— Вставай, Петя Петров кукарекнул.

Митя открыл глаза, увидел в окне светлую холодную луну и сразу вспомнил, что вот сейчас, прямо в эту минуту, надо вылезать из тёплой постели и выходить в ночь, в тьму, бежать под этой стылой луной неведомо куда, — и ему сделалось жутко.

Но Саша прошептал:

— Дрейфишь?

Митя свесил голые ноги с кровати и стал одеваться.

Саша свою куртку уже натянул и теперь засовывал в карманы хлеб, спрятанный в тумбочке во время ужина.

— Провиант на дорогу. Хорошо, что сберегли. Айда?

Осторожно ступая босыми ногами по гладким прохладным половицам, они выскользнули в тёмный коридор. Саша остановился возле комнатухи Павлы Юрьевны, приложил ухо к двери. Там было тихо, и мальчики принялись ощупью разыскивать на вешалке свою одежду. Пальто и шапки нашарили сразу, а валенок под вешалкой не было. Там ничьих валенок не было.

— Вот так раз, — едва слышно выдохнул Саша.

Но Митя сообразил:

— Так мокро ведь было. Вся обувь на кухне сушится.

Пришлось открывать дверь на кухню. Дверь, к счастью, не закрипела. Вышла заминка только с самими валенками. На тёплой плите их стояло так много, что выбрать впопыхах свои было невозможно.

— Натягивай любые, — скомандовал Саша, — лишь бы по ноге прились. Теперь всё равно.

— Теперь всё равно, — согласился Митя.

И вот они сняли в сенях с дверного пробоя тяжёлый крюк, тихонько вышли на крыльцо, и навстречу им хлынул холодный лунный свет, протянулись по синему снегу резкие тени сосен.



Мальчики замешкались у крыльца. Но тут к ногам их упала сухая сосновая шишка, беглецы вздрогнули, припустили во весь дух к воротам.

Они выскочили на проезжую дорогу и побежали по ней в ту сторону, где хмурился под звёздным небом ночной лес.

На опушке, у первых ёлок, Саша остановился, посмотрел на тёмные, теперь далёкие окна школы и сказал:

— Адью! Прощай!

А Митя ничего не сказал. Митя даже не помахал варежкой. И не потому, что ему было всё равно, а потому, что он боялся заплакать.

Потом они помчались дальше и бежали до той поры, пока у обоих не закололо сердце. Тогда мальчики пошли быстрым шагом и всё посматривали вперёд, всё ждали, когда покажутся крыши полустанка.

Влево, вправо они не глядели. Смотреть по сторонам было страшно. Подсвеченный луною мартовский лес был угрюм. В нём что-то вздыхало, скрипело, нашёптывало: там, должно быть, оседали в глубоких оврагах напитанные талой водою снега, — но мальчикам думалось: кто-то крадётся, вот-вот выйдет косматой тенью на дорогу и преградит им путь.

Саша, боясь, как бы Митя не раздумал и не повернул назад, принялся расписывать вслух будущую жизнь на корабле:

— Как заявимся, Митёк, так первым делом отрапортуем: «Юнга Кукин и юнга Елизаров для прохождения военной службы прибыли!» Вот папа и лейтенант Бабушкин обрадуются так обрадуются. Они ведь там по нас наверняка соскучились.

— Скажешь тоже... Соскучились! — сомневается Митя. — Лейтенант меня и в глаза не видел.

— Мало ли что не видел. Всё равно соскучился. Моряки, знаешь, как по берегу, по семье скучают? А ты ему станешь как сын или как брат.

— У него, может, свой сын есть?

— Нету! Если бы он был, лейтенант бы тебе привет не послал. Он бы своему сыну послал. Нет, Митёк, он сразу тебя признает и даже к себе в каюту жить возьмёт. Ты хоть когда-нибудь в каюте на корабле был?

— Откуда же...

— А я бывал. Правда, маленьким, ещё до войны, и многое позабыл. Но вот одно запомнил. Есть там такое круглое окошко, иллюминатор называется. Стекло в нём толстое, чистое, а за стеклом — синее небо, а море — тоже синее. И волны под самым окном тихонько нашлёпывают, а в каюте на столике, знаешь, что?

— Что?

— Целый стакан компота! А я беру этот стакан и пью. Правда, хорошо?

— Хорошо-о, — кивает Митя. — Да только, я думаю, компотов там сейчас никто не распивает, а все стоят на своих боевых местах и смотрят, где враг.

— А я про что? И я про то же! — сразу, не задумываясь, переключается Саша. — Мы тоже будем смотреть. С мачты будем смотреть. Нам бинокли выдадут.

— Раньше ты говорил, автоматы.

- И автоматы, и бинокли, и ещё пистолеты!
- Ну, пистолеты вряд ли... Пистолеты бывают у командиров.
- Не только у командиров. Когда к нам на ленинградскую квартиру забегал в последний раз от папы матрос с запиской, у него, у матроса, на ремне висел пистолет. Вот та-кой! Большой! Маузером называется.

9.

Мальчики шли, разговаривали, а хмурый, полный тревожных шорохов лес между тем кончился, и за последним поворотом с горки они увидели белеющие в ночи поля, прямую насыпь железной дороги и постройки долгожданного полустанка за ней.

Построек было немного. Крохотный деревянный вокзал с дежуркой, сарай для инструментов и длинный, в сугробах по самые окна барак, в котором жили дорожные рабочие и служащие.

Невдалеке от полустанка среди полей раскинулось большое село по названию тоже Кукушкино. Его спящие избы и высокие вётлы сливались в один тихий тёмно-серый остров: там даже собак было не слышать.

А вот в окне дежурки мерцал огонёк. Слабое пламя керосиновой лампы освещало склонённую к самому столу чью-то голову в нахлобученной шапке.

— Дежурный по разъезду. Ты его не бойся. Он только к поездам и выходит, — сказал Митя, потому что бывал тут не один раз, когда приезжал с Филатычем на сельскую почту и в пекарню за хлебом.

Мальчики осторожно прошли мимо окна. Митя посмотрел вдаль и вдруг обрадовался:

— Зелёный светофор зажёгся! Поезд близко.

— Якши! — весело подхватил по-турецки Саша и опять взял на себя командование: — Ты, Митёк, не зевай, делай, как я. Когда придёт поезд, смотри под вагоны, ищи собачий ящик.

Увидишь первым — кричи мне. Увижу я — скажу тебе. И тут мы сразу в этот ящик — нырь! — и поехали!

— Какой собачий ящик? Где? — спросил неопытный Митя. — В нём что? Собаки ездят?

— Собаки не ездят. Это так говорится, собачий, а ездят в нём ребята-беспризорники, безбилетники. У нас тоже билетов нет — значит, поедem в собачьем. Невелика важность... Лишь бы везло, ехало! Верно?

Митя кивнул: верно! Он и не подозревал, что Саша об этих ящиках читал в какой-то книжке о беспризорных, но сам их не видывал и видеть не мог. Саша ведь и на поезде-то прокатился всего-навсего один раз в жизни, когда его везли из Ленинграда в интернат.

И тем не менее мальчики не сомневались, что всё теперь будет «якши», что стоит прийти поезду — и они тут же простятся с полустанком Кукушкино.

А поезд подходил. Далеко в полях пропел его чуточку печальный голос. Потом голос повторился, прозвучал раскатистее, задорнее, слышнее, и на платформу вышел дежурный с зажжённым фонарём.

Дежурный поднял фонарь над головой, и через две-три минуты поезд вылетел из темноты, засверкал мощным прожектором паровоза, осветил чёрные шпалы, осветил длинные блестящие рельсы и, сильно расталкивая воздух, загрохотал мимо платформы, мимо дежурного, мимо вокзала, мимо мальчиков.

Поезд был товарный, и полустанок он пролетел напроход.

Поезд был с танками. Тяжёлые, чёрные, с грозно устремлёнными вперёд стволами пушек, они мчались друг за другом, и казалось, вся земля дрожит от их стальной тяжести. Казалось, это не поезд несёт их вперёд, а сами танки несутся с грохотом и лязгом в ту западную сторону, где холодные ночные поля и ночное небо слились в одну мрачную полосу.

Танков было так много и они пролетали так быстро, что у Мити закружилась голова. Он отвернулся, а когда снова глянул, то грохот поезда уже затих, фонарь дежурного опустился, помелькал огоньком туда-сюда, поплыл за угол вокзала, там стукнула дверь — вот и всё!

— Вот и всё, — сказал Митя. — Как теперь быть?

— Как быть, как быть! Ждать, терпеть, — ответил Саша и махнул рукой в сторону вокзала. — Пойдём, погреемся.

Греться пошли в зал ожидания. Там было так темно, что собственной руки не разглядеть, лишь смутно белел квадрат окна, выходящего на перрон. В зале стояла мозглая сырость, пахло, как в погребу.

Митя осторожно прикрыл за собою дверь на пружине, прошептал:

— Тут где-то печка...

Мальчики, натываясь на деревянные диваны, стали искать печку. А рядом, за тонкой стенкой, вдруг тихо зажужжало, негромко звякнуло, и высокий мужской голос прокричал:

— Тюнино! Тюнино! Триста восьмой-бис через Кукушкино проследовал. Вы меня поняли? Я вас понял. Ага!

Снова звякнуло, голос умолк.

— Дежурный по телефону разговаривает. Не шуми, а то услышит, — прошептал Митя, опять ударился коленкой о диван и тут наткнулся ладонями на железный округлый печной бок.

Саша тоже добрался до печки.

— Едва тёпленькая. Чуть живая...

— Я сам чуть живой. Есть хочется.

— Давай поедим. Провиант при нас.

Мальчики влезли с ногами на диван, прижались к печке. Саша старательно засопел, стал в темноте расстёгивать пальто, доставать провиант. В Митину ладонь ткнулась плоская корочка.

— Ты что? Разве больше нет?

— Есть. Но больше нельзя. Я себе отломил столько же. Будем растягивать до флотского пайка.

— Дотянем.

— Конечно, дотянем.

После корочки хлеба и разговора о флотском пайке мальчики опять приободрились, но бодрость их была теперь совсем не та, что раньше. Ночь шла на убыль, а пассажирский поезд с ящиком всё не приходил и не приходил. Поезда за окном грохотали то и дело, но все они были товарные, военные, и все проносились напролёт.

— Смотри, Сашок, танков-то сколько... Пушек! Идут и идут. Где их только мастерить успевают?

— На Урале. Где же ещё? Там заводы, там кузница победы. Помнишь, Павла Юрьевна говорила?

— Угу, — кивнул Митя и попробовал представить себе

эту заводскую кузницу, но вспомнил, что вот и он тоже, если бы не потерял маму, жил бы на Урале, и потихоньку вздохнул...

Сначала мальчишки на каждый грохот бросались к окну, а потом даже и от печки отходить не стали. Они поглядывали на пролетающие огни паровозов да слушали выкрики за стеной:

— Тюнино! Тюнино! Сто двадцатый проследовал... Кирсаново! Кирсаново! Двести шестому путь свободен.

И каждый раз дежурный хлопал дверью, выходил на платформу, пропускал мимо себя грохочущий состав и опять хлопал дверью, опять накручивал рукоять телефона, кричал в трубку и снова ненадолго затихал.

Митя подумал: «Хорошо ему. Он работает, он у себя дома. Ему бежать никуда не надо. Мне вот тоже, когда я работал в интернате — колол дрова, ездил за водой, — было хорошо».

Но вслух Митя не сказал ничего. Саша мигом бы отрезал: «Опять трусишь?», — а Митя несколько не трусил, ему просто так думалось, вот и всё.

Вслух он произнёс:

— Хоть бы время узнать... А то непонятно: то ли ночь, то ли утро?

Саша слез на пол, стал ходить, неслышно ступая валенками. Он тоже сильно тревожился. Он думал о том, что если до рассвета они не уедут, то в интернате их наверняка хватятся, и тогда им во веки веков не видать никаких кораблей.

Тут опять зажуужжала телефонная вертушка, и дежурный принялся выкрикивать не номера поездов, а совсем другое. Он закричал:

— Тюнино! Тюнино! Валя, позови Сидорчука... Что? Всё равно позови! Я сам двое суток не спал... Сидорчук? Ты что, Сидорчук, дрыхнешь, дрова не шлешь, пока у меня запасной путь свободен? Что? Не дрыхнешь? А почему дрова не присылаешь? Грузить некому? Сам грузи, Сидорчук, сам! Что? Как мои дела? Дела как сажа бела! Не поправляется напарник мой... Пряхин, говорю, не поправляется! Третьи сутки мне не выстоять. Усну. Аварию сделаю... Ты, Сидорчук, давай дрова шли и на подмену мне хоть часа на два кого-нибудь. Ну, ну! До семи ноль-ноль я вытерплю, продержусь. Недолго осталось, полтора часика. Ты с ним, Сидорчук, и махорки

пришли. Пришли, пришли, не зажимай! Я тут свою всю высмолил. Ну, будь здоров, жду!

Дежурный повесил трубку, а Митя подумал о нём опять:

«Нет, этому человеку за стеной не так уж и хорошо. Ему так трудно, что он говорит: «На ходу усну!», — да только всё равно терпит. Он терпит, потому что его товарищ по фамилии Пряхин болеет, потому что война и заменить Пряхина и этого дежурного больше некому. Он мало того, что терпит, он ещё дрова какие-то требует: наверное, тоже для Пряхина».

Митя вспомнил высокую поленницу за крыльцом интерната. Вспомнил, что вся она из толстых кряжей и стоит совсем неколотая, а переколоть её в интернате не может никто, кроме Мити, ну, разве что Филатыч...

«Да не только дрова. Вот у дежурного по разъезду товарищ болеет, а у нас в интернате Зорька... Очень похоже всё получается. Похоже, да не совсем! Дежурный о больном Пряхине заботится, работает за него, а я от Зорьки сбежал. Я даже не знаю: как она там? Выздоровливает или нет? А если не выздоравливает, то кто воды с ручья на салазках привезёт? Павла Юрьевна с Егорушкой, что ли? Или опять Филатыч, у которого и так уже руки трясутся?»

Митя поёжился, слез с дивана, тоже заходил туда-сюда.

— Озяб? — сказал Саша. — Походи. Я вот походил и согрелся. Теперь скоро.

— Откуда известно?

— Разве не слышал, к дежурному сменщик едет? А если едет, то, значит, на поезде, который тут остановится. Может быть, этот поезд и есть наш — с ящичком!

А Мите было уже не до поезда. У Мити голова раскалывалась от горьких дум. Он совсем не знал, что делать. С одной стороны, всё получалось так, что надо бы вернуться, а с другой стороны, выходило: если вернёшься, то сделаешь предательство. Вернуться — это значит бросить Сашу здесь, на полустанке, сам-то Саша назад ни за что не повернёт, а ведь Митя уже на себе испытал, каково человеку, если он останется один в пути.

Митя ходил, думал, даже головой покачивал, как от боли, и Саша спросил:

— Ты что?

— Ничего. Егорушку вспомнил. Егорушку жалко.

У него сегодня день рождения, а дудочку ему я так и не подарил...

И тут Саша ни с того ни с сего подбежал к Мите, ухватил за пальто, притянул к себе и сердитым и в то же время странно всхлипывающим голосом зашептал:

— Тебе Егорушку жалко? А мне, думаешь, нет? А мне, думаешь, наплевать? Да если хочешь знать, так я Егорушку больше тебя жалею! Я ему сегодня весь свой сахар за завтраком хотел подарить! И половину хлеба хотел подарить... Я ему сюрприз готовил, а ты говоришь...

— Да что ты, Сашок, — испуганно забормотал Митя. — Я так совсем и не говорил. Даже не думал.

— Нет, думал! Думал и вслух намекал! А мне намекать нечего. Я сам не меньше тебя переживаю. Да только что поделаешь? Тут одно из двух: либо на фронт ехать, либо день рождения праздновать. Понял?

— Понял, — ответил Митя, хотел ещё что-то сказать, да не успел. За стеною громко, радостно закричал дежурный:

— Кукушкино слушает! Кукушкино слушает! Это ты, Сидорчук? А где Валя? Ко мне поехал? Вот спасибо, Сидорчук! Вот спасибо! Принимаю, принимаю... Пассажиров? Пассажиров у меня нет. Не видно.

— Митька! Поезд идёт. Пассажирский! — чуть не заголосил во всё горло Саша, да тут же спохватился, замахал рукою: давай, мол, давай торопись!

10.

Мальчики выскочили на платформу. Они помчались по ней в ту сторону, откуда должен был показаться поезд, а пока лишь чуть виднелись убегающие вдаль телеграфные столбы, предрассветно туманились еловые перелески, да уходило за них тёмное, обтаявшее до самой земли железнодорожное полотно.

Вдруг из-за построек на платформу наперехват мальчи-

кам неожиданно-негаданно вывернулась толстая востроглазая женщина в дублёном полушубке.

— Завпочтой! Тётя Клавдя! Она меня знает, — едва успел шепнуть Саше перепуганный Митя, а женщина широко и удивлённо растопырила руки, забасила:

— Кукин! Митя! Да ты откуда? А Филатыч где? Неужто в такую рань на пекарню приехали?

Митя растерянно мотнул головой: «Да, мол, приехали...» — а Саша, хотя эту женщину видел впервые, бойко зачастил:

— На пекарню, тётя Клавдя, на пекарню. Филатыч на пекарню поехал. У нас хлеб кончился. Завтракать не с чем! Хлеба в интернате ни крошки нет!

— Н-не знаю, — опять развела руками женщина. — Не знаю... Вряд ли сейчас получите. Разве с вечерней выпечки сколько-нибудь осталось. Филатыч, поди, и ко мне там заглянет?

— Заглянет! Обязательно заглянет! — уже не мог остановиться Саша, а тётя Клавдя усмехнулась:

— Ну и бестолковый интернат сегодня. С чего это? Разве не знаете, и почты в такую пору не бывает никогда? Почта вот только сейчас прибудет, на поезде. А ты, Митя, почему с дружкой тут околачиваешься? Филатыч в пекарне, а ты здесь?

— Мы не околачиваемся, мы смотрим. Филатыч нам решил, — опять вывернулся находчивый Саша. А Митя как стоял, как молчал, так и теперь продолжал помалкивать. Он лишь тихонько пошмыгивал носом и думал: «Вот влипли так влипли. Тётя Клавдя вернётся в село и сразу узнает, никакого Филатыча там и не было».

С перепугу Митя совсем забыл, что, пока тётя Клавдя вернётся, они будут уже в поезде, в ящике, и укатят далеко-далеко.

А Саша не забыл. Он торопливо произнёс:

— Простите. Вам надо получать почту, а мы — к Филатычу. Оревуар! До новой встречи!

Саша приподнял ушанку, вежливо поклонился, а тётя Клавдя обернулась к нему, озадаченно повторила:

— Ревуар? Какой ревуар? Где?

И вдруг она посмотрела на Сашины ноги да так и присела:

— Батю-шки! На ногах-то у тебя что! На ногах-то!

Саша глянул вниз и сам чуть не ахнул. Правый валенок был на нём свой, серый, а левый — чужой. Он был сильно растоптанный, в рыжих подпалинах и, судя по знакомой заплатке, — не чей иной, как самой Павлы Юрьевны, заведующей интернатом. Саша даже пощупал валенок, даже извернулся и на пятку посмотрел, а потом изумлённо произнёс:

— Пардон! Спутал в потёмках...

— Что за пардон? Какой пардон? То ревуар, то пардон... Ты чего, паря, всё мелешь-то? — опять засмеялась тётя Клавдя, а Митя наконец набрался духу, тоже заговорил:

— Это он так по-иностранному извиняется перед вами. Извиняется и прощается. Нам и вправду пора. Мы пошли.

Но тётя Клавдя цепко ухватила Митю за рукав:

— Раз Филатыч отпустил, помогите мне. Поезду остановка здесь — одна минута, мне лишние руки вот как нужны. Побежали со мной, побежали, к первому вагону побежали. Вон и поезд идёт!

Она ухватила Митину руку ещё крепче, побежала по перрону, Митя поневоле затопал рядом с ней. А Саше тоже деваться некуда. Саша тоже побежал, не отставал, только валенки — серый да рыжий — замелькали.

В это время пассажирский поезд с длинным, сильным, красно-зелёным паровиком ФД впереди миновал входной светофор, миновал стрелку, сбавляя ход, покатыл по рельсам рядом с платформой и вот — остановился.

Саша на бегу стал заглядывать под колёса, под вагоны, стал искать ящик. Но ящиков под вагонами что-то было не видеть. Там пронзительно скрипели, шипели тормоза, круглились какие-то цилиндры да толстые, грязные трубки.

«Где они, ящики? Где? Да и Митька, простофиля, бежит с этой тёткой... Надо его, простофилю, выручать!»

Саша перестал заглядывать под колёса, помчался к почтовому вагону. Там во всю ширину раздвинулась высокая дверь, из неё, кем-то сильно брошенный, вылетел фанерный посылочный ящик.

Тётя Клавдя ящик ловко поймала, сунула Мите в руки. Митя быстро поставил ящик на снег.

Тётя Клавдя поймала второй ящик, опять сунула Мите, он и его поставил на снег.

А потом третий, а потом четвёртый, а потом какой-то тюк, а потом какой-то мешок, и Митя едва успевал нагибаться-разгибаться, он уже ничего не соображал, а только думал, как бы не грохнуть ящик на платформу, не расколоть вдребезги.

Саша подскочил, зашептал:

— Ты что? Ты что? Беги скорей, поезд отойдёт!

А тётя Клавдя сунула и ему ящик, и Саша тоже взял и тоже поставил, и тут совсем рядом, над самым ухом, заверещал кондукторский свисток, и — пых-пых! стук-стук! — поезд потихоньку тронулся с места.

Он пошёл, а из вагона с почтой вылетел ещё один паке-тик — видно, последний. Тётя Клавдя опять изловила его, машинально сунула Мите в руки, Митя хотел и этот пакетик опустить на платформу, да вдруг застыл. У Мити даже рот приоткрылся.

Нет, Митя смотрел не на поезд. Вслед уходящему поезду смотрел Саша. Саша даже побежал было за уплывающими подножками, но, чувствуя, что Митя не трогается с места, и сам остановился. Посмотрел, как, покачиваясь, удаляется красный кружок на последнем вагоне, судорожно вздохнул, напустился и обернулся к Мите.

А Митя, его надёжный компаньон Митя, даже и краешком глаза не посмотрел вслед поезду. Митя, похоже, про поезд и думать позабыл: с таким странным видом стоял он сейчас на платформе и так пристально разглядывал пакет.

Лицо у Мити было такое, будто он увидел в собственных руках луну или ещё что-то не менее удивительное. Митя рассматривал пакет и всю улыбался.

— Ты чему радуешься? — подскочил к нему Саша. — Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?

Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, потом торжественно, обеими руками вознёс пакет впереди себя и повернул его так, что Саша сам, хотел не хотел, а уставился на пакет.

На грубой толстой парусине чётко виднелась фиолетовая чернильная надпись:

*ЭНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУКУШКИНСКИЙ РАЙОН
ДЕТСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3
ДМИТРИЮ КУКИНУ*

А чуть пониже обратный адрес:

n/n 1928 Н. И. Бабушкин.

И тут Саша сам позабыл про поезд. Он забыл даже про тётю Клавдю, которая в это время пересчитывала разбросанные ящики, составляла их горкой.

Саша выхватил из Митиных рук пакет, перечитал оба адреса, сказал:

— Ну, Митя... Ну, Митя... — а дальше сказать ничего не мог.

А тётя Клавдя — раз, два, три, четыре, пять! — досчиталась до этого пакета, ткнула в него пальцем — шесть — и вдруг тоже удивилась:

— Вы зачем его схватили? Положите. Он ведь не ваш.

— Наш! — с ликованием в голосе крикнул Саша. — Наш! Вот его, Дмитрия Кукина.

Тётя Клавдя изумлённо подняла брови, наклонилась к Саше, к пакету.

— Ну-ка, ну-ка... Ой, и верно! Кукину... Дмитрию... От кого это тебе? От какого-то Бабушкина с полевой почты. От какого Бабушкина?

— От лейтенанта. От Н. И., — осевшим голосом просипел Митя и потянулся к пакету.

— Это как понимать — Н. И.? Имя-отчество говори полностью, — сказала тётя Клавдя и отнесла руку с пакетом в сторону.

Митя перепугался, что пакет она не отдаст, и растерянно прошептал:

— Так я же не знаю...

— Ах, не знаешь! Может, ты и своего имени не знаешь? Может, ты совсем и не Дмитрий? Может, у вас в интернате какой другой Дмитрий Кукин есть? А ну, показывай паспорт!

Тётя Клавдя вроде бы шутила, а вроде бы и не шутила. Испуганный Митя разобрать этого не мог.

На глаза его навернулись слёзы, да тут опять вмешался Саша:

— Вы что? Почему же он не Дмитрий, когда он Митя! А от Бабушкина у него письмо есть — в кармане, в курточке. Митя, покажи ей письмо!

Митя стал расстёгивать пальто, чтобы добраться до курточки, а тётя Клавдя увидела, как пальцы у него дрожат, не могут нашить петельки, испугалась и сказала:

— Не надо, не надо. Я ведь смеюсь. Бери свой пакет, только распишись вот здесь.

Она вынула из кармана полшубка химический карандашный огрызок, стопку бумажек, и на одной бумажке Митя вывел свою фамилию: «Кукин». А потом подумал и добавил для верности: «Дмитрий». Он хотел ещё написать «Семёнович», да тётя Клавдя отняла бумажку, засмеялась:

— Хватит, хватит. И так всё теперь законно. Бери пакет.

— Его можно уже и раскрыть? — спросил Митя.

— Можно, да потерпи чуть-чуть. Сперва помогите мне почту до саночек донести. Они у вокзала стоят.

Митя сунул свой пакет за борт пальто, с готовностью схватил сразу две посылки, Саша тоже взял две посылки, а тётя Клавдя — посылку, тюк и мешок.

Они пошли по платформе, и там, в самом конце, увидели двух железнодорожников в чёрных узких шинелях и в чёрных зимних шапках. Железнодорожники громко разговаривали, смеялись. Один из них свёртывал папироску, и был он очень высокий, худой, с лохматыми седыми бровями над горбатым носом, а второй был маленький, молоденький, с розовым лицом.

«Наверное, тот большой — наш дежурный, а тот маленький — Валя», — подумал Митя. Подумал, сразу вспомнил про своё беглое положение, и сердце у него тоскливо заныло: «Неужто Саша опять будет ждать поезда? Неужто опять побегим?»

Он опасливо покосился на Сашу, но тот спокойнѐхонько нёс посылки, на Митю не смотрел, сигналов никаких не подавал.

Тогда Митя нежно, подбородком, погладил торчащий на груди пакет. Ему не терпелось узнать: что там? Ему так не терпелось, что он первым добежал до саночек и, поскорее освобождая руки, бросил ящик на саночки. Саша тоже разгрузился, и прямо тут, на посылках, на саночках, мальчики принялись тормозить пакет.

— Господи! — сказала тётя Клавдя. — Вот нетерпѐны... Без ножниц, прямо зубами шпагат рвут! Пошли бы ко мне на почту, там бы и распечатали. Не рвите, не рвите, давайте помогу.

Ей ведь и самой страсть как хотелось увидеть, что там такое прислал Мите Кукину лейтенант Бабушкин.

А мальчики грубые, толстые швы уже раздёрнули, и внутри под упаковкой оказались ещё два отдельных, замотанных в бумагу пакетика.

— Давай, разматывай! — сказал Саша, и Митя принялся разматывать первый свёрток.

Он разматывал его очень бережно. Он разматывал его очень тихо. Он разматывал его так медленно, что Саша крикнул:

— Да скорее же!

Митя развернул — и сразу сказал:

— Ох!

Сверкнув золотом якорей и прошуршав чёрным шёлком ленточек, возникла великолепная матросская бескозырка.

Митя опять вздохнул:

— Ох!

Тётя Клавдя произнесла:

— Ну и ну!

А Саша сказал:

— Вот так да! Ну-ка, надень-ка!

Митя снял ушанку, надел бескозырку.

— Идёт! В самый раз, — похвалил Саша, а тётя Клавдя добавила: — Вылитый гвардеец! Настоящий моряк, да и только!

Митя протянул бескозырку Саше:

— На, Сашок, и ты примерь.

Но Саша мужественно отказался:

— Не надо. Посылка твоя — значит, и бескозырка твоя. Давай дальше смотреть.

А дальше обнаружили не менее интересные вещи. Синий с красным шестигранный командирский карандаш «Тактика» с двумя наконечниками из новеньких, с медным блеском автоматных гильз; огромная, шириной с ладонь, плитка шоколада под названием «Золотой якорь» и — письмо!

Совсем небольшое письмо, но зато всё целиком — для Мити.

Сказано в письме было вот что:

«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлотский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиных писем. Письма читали все моряки и вот выносят тебе краснофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интер-



нате, с честью несёшь свою трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога.

А от себя, Митя, лично я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да сам понимаешь, с фронта посылки посылать трудно. Надеюсь, что после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нём подробно все свои дела.

Наши боевые дела идут отлично. Бьём фашиста-захватчика, скоро ему придёт полный конец.

Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам — Филатычу и Павле Юрьевне — и вообще всему интернатскому экипажу.

Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту — Николай Иванович».

Письмо прочитали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только тётя Клавдя произносила каждую фразу вслух. А потом от себя добавила:

— Вот это человек так человек! Сразу видно, душевный.

А Митя прочитал письмо до конца и так разволновался, что и словечка сказать не мог. Когда же услышал, как тётя Клавдя хвалит лейтенанта Бабушкина, так сразу выхватил из растерзанного пакета шоколад, всю плитку, и стал совать ей в руки:

— Это вам! От него!

— Что ты! — отмахнулась тётя Клавдя. — Что ты! Этот гостинец ты у себя там на всех ребятишек разделишь. То-то им будет радости!

Митя схватил двухцветный карандаш, протянул Саше:

— Тогда ты, Саша, себе вот это возьми!

Саша карандаш взял, осмотрел, даже понюхал, потому что новенькие карандаши пахнут несколько не хуже самого лучшего шоколада, но тоже сказал:

— Нет!

И он сказал не только «нет». Он подумал, подумал и тихонько произнёс вот ещё что:

— Мне, Митя, ничего не надо. Я от лейтенанта Бабушкина привет получил, и на том спасибо. Мог бы и не получить... А карандаш подари лучше Егорушке. Вместо дудочки.

Митя, когда услышал такое, даже собственным ушам не поверил. Он заглянул Саше прямо в глаза и медленно переспросил:

— Как так Егорушке? Ты, значит, согласен, чтобы я вернулся? А ты сам? Ты сам тоже идёшь со мной?

— Иду, Митя, — сказал Саша. — После такого письма куда ж нам идти?

— Только домой! Ответ Бабушкину писать! — просиял Митя.

Мальчики сами не заметили, как впервые за два года жизни в этом краю назвали свой интернат не «интернатом», не «школой», а «домом». Тётя Клавдя смотрела на них и ничего не понимала.

— Вы о чём, ребятишки? Как это так — домой, когда у вас Филатыч где-то здесь, в селе?

— А мы с ним всё равно встретимся! — улыбнулся Митя. Разговаривать с тётей Клавдей он теперь не боялся, потому что всё теперь было честно, всё правильно.

Митя даже помог тёте Клавде стронуть гружёные саночки с места, спросил:

— Одна довезёте?

— Довезу. Сегодняшний груз невелик, я и больше воживала. Ступайте. Спасибо вам!

— И вам спасибо! — сказали мальчики и побежали по тропке сначала через рельсы, потом через поле — прямо к лесной дороге.

А вокруг уже рассвело. Из-за ельника выкатилось солнце, и опять по всей полевой белизне, по яркому насту протянулись от каждой торчащей из-под снега былинки, от каждого снежного заструга длинные голубые тени.

Мальчики выбежали на санную дорогу, помчались в гору, и вдруг на-





встречу им из-за горы вынырнула тёмная лошадиная голова с дугой, потом вся лошадь, за ней сани-розвальни. В санях стоял на коленях человек, солнце светило ему в спину, и весь он казался чёрным.

Лошадь тоже казалась чёрной. Только передние ноги у неё ниже колен были белыми, словно в белых чулках. Бежала она ходкой рысью.

У Мити ёкнуло сердце.

— Неужели Филатыч на Зорьке?

Саша прикрылся ладонью от солнца, посмотрел, сказал:

— Не похоже. Эта лошадь совсем другая. Видишь, ноги белые.

Но это была всё-таки Зорька, а в санях — Филатыч. Он узнал мальчиков первый, остановил Зорьку, побежал к ним с широченным тулупом в руках, и мальчишки смотрели на Филатыча и не могли понять: к чему здесь тулуп?

Они прижались друг к другу. Они ждали: сейчас на них обрушится кара, но обрушился на них только вот этот мохнатый тулуп. Филатыч как добежал до них, так только и сделал, что накрыл обоих, как неводом, овчинным тулупом и крепко стянул края широкополой одежды, запричитал:

— Матушки мои! Вот вы где! Нашли-ся! А мы-то с Юрьевой чуть ума не лишились! Пойдёмте, матушки мои, пойдёмте! Пойдёмте домой...

Мальчишки растерялись. Им стало даже совестно, что дряхлый, бородатый Филатыч так возле них суетится. Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:

— Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали, мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно назвал.

— Да господи! Да об чём речь! — воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. — Да разве я... Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего — и шабаш! Вот как!

Старик ещё раз махнул рукой, словно что-то отрубил, и сказал уже совсем иным, твёрдым, своим всегдашним голосом:

— Садитесь! Поехали! Теперь, считай, всё в аккурате.

— И Зорька в аккурате? — робко спросил Митя.

— Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь.

— А ноги?

— Что ноги?

— Это вы ей так забинтовали?

— А то кто же? Ещё с недельку побинтуем, а там совсем пройдёт.

— И жеребёночек у неё будет?

— Будет, будет. Ладно, что ты сумел её тогда распрячь. Ладно, вызволил из полыньи. Иди с ней поздоровайся, да поехали.

И вот опять тёплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил её шелковистую шею, а



Зорька всё поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальто, то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.

— Потерпи, Зоря, потерпи, — шепнул ей Митя. — Вот приедем домой — и покажу. Всем покажу — и тебе покажу.

А потом, когда поехали домой, усталых мальчиков свалила дремота, и, лёжа под мягким, тёплым тулупом, Митя увидел сон.

Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать её ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо идём? Давай помчимся!» — «Давай», — говорит Митя, и вот перед ними два длинногривых коня. Один конь — это Зорька, второй конь — это взрослый её жеребёнок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.

И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребёнка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они летят. Они несутся над зелёным лугом, над пшеничным полем, над макушками тихих сосен, а под соснами школа — и рядом с ней широкие ворота.

Кони опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище, и на нём голубыми, очень большими буквами написано: «ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!»

— Это от тебя, Николай Иванович, мне привет? — спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:

— От меня, Митя, от меня. Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!

Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнёс громко, сразу на трёх языках:

— Шарман! Вери вел! Май-о-о!

Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:

— Верно, сынок, верно. Всё хорошо, что хорошо кончается. — Потом что-то вспомнил, с усмешкой покачал головой, повторил свои мысли вслух: — То-ва-рищ Филатыч... Товарищ, да ещё и Филатыч! Ну надо же такое сказать. Он причмокнул на Зорьку: — Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее. Товарищи проснутся — поди, есть захотят.

И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.



ОЛЁШИН ГВОЗДЬ



1.

В городке Батурине живёт с мамой пятилетний мальчик Олёша. Мама у Олёши молодая, характером тихая, и поэтому все соседи зовут её просто Аннушкой. Олёша сам нет-нет да скажет ей:

— Ты моя мамушка Аннушка!

Городок невелик и тоже очень тих. Он стоит на холме среди зелёных лугов. На его улицах темнеют вековые прохладные липы. Обочины заросли крупными ромашками, золотыми одуванчиками, голубым цикорием. Пёстрое разнотравье разлилось по всему городку, а особенно ярко цветёт на самой окраине, у высоких стен древнего монастыря.

В белых монастырских постройках теперь фабрика. На фабрике всю войну шили солдатские гимнастёрки. Нынче там шьют ситцевые рубахи, мамушка Аннушка тоже шьёт рубахи, а Олёша стережёт дом и ждёт маму по вечерам с работы.

Долгая война кончилась не так давно, и жизнь в городке трудная. Но всё равно в нём стало пошумнее. Теперь что ни день, то там, то тут начинают хлопать двери, с весёлым сверканьем распахиваться окна; из окон доносятся песни, смех, топот, ликующий голос гармошки, и это значит — в Батурино вернулся с войны ещё один солдат.

А в стареньком, тёмном и скрипучем от времени Олёшином доме, под стопкой белья в комоде, хранится казённый конверт.

Кто и когда принёс конверт, Олёша не помнит. Он только помнит — этот конверт у мамы в руках. Мама в белой кофточке сидит у самой стены, русую, с тяжёлым узлом волос голову запрокинула, над нею медленно качается медный маятник часов, а мама закрыла глаза и тоже, как маятник, медленно поводит головой из стороны в сторону, из стороны в сторону и молчит, молчит.

На лавке бок о бок с мамой печально сгорбились две молодые в чёрных косынках женщины — мамины подруги, тётя Настя и тётя Вера. Они тихонько просят:

— Поплачь, Аннушка... Покричи, Аннушка... Сердце не выдержит, по себе знаем. Ну, покричи...

Но мама всё молчит. Мама всё так же медленно поводит головой, и Олёше вдруг становится жутко, и он кричит сам:

— Ну мама! Ну ма-му-шка!

Мама вздрагивает, словно просыпаясь, открывает глаза, протягивает Олёше руки. Он бросается к ней, и вот они плачут вместе.

А когда мамыны подруги потихоньку встали и ушли, мама сказала:

— Нет теперь папки у нас, Олёша, нет! Одни мы теперь с тобой, горькие сиротинушки.

И тут она заплакала так громко, что Олёша очень испугался, уткнулся ей головой в колени и не отходил до той поры, пока мама не притихла.

С того дня мама стала совсем другой. Она купила на базаре чёрный платок, сшила чёрную кофту и сразу словно состарилась. Даже голос у неё постарел, стал слабым и жалостным. Она то и дело повторяла:

— Одни мы с тобой, Олёша, остались, одни. Надеяться нам теперь не на кого. Никто к нам теперь не придёт, не поможет...

— Почему никто не придёт? — спрашивает Олёша. — А тётя Настя? А тётя Вера? Ты их позови, они придут. А хочешь, я сбегая. Тут близко.

Но мама склоняется к Олёше, грустно качает головой:

— У них тоже горе. У них горе своё — у нас, Олёша, своё... Чем они нам помогут? Ничем. Нет, лучше не зови, и на улицу, милый сын, не бегай. Там лошади, там машины, и теперь я боюсь, как бы и с тобой чего не вышло.

— Не выйдет, — успокаивал Олёша. — Я ловкий!

И, желая маму утешить совсем, он лезет к ней на колени, смотрит прямо в синие, очень печальные глаза и говорит:

— Ты, мамушка Аннушка, не расстраивайся. Ты знаешь, на кого надейся? Ты на меня надейся. Я для тебя всё сделаю... Помнишь, говорила, нам домик поновей надо бы? Так вот, я немного подрасту — и новый дом построю. Я уже гвоздь припас! Большой, крепкий... Показать?

И Олёша срывается, чтобы показать гвоздь, но мама удерживает Олёшу, гладит ладонью по его рассыпанным белой копёшкой волосам:

— Видела, видела. Я уже видела... Я тебя об одном прошу, ты на улицу не убегай.

Аннушка так теперь боится улицы, что, когда идёт на работу, запирает калитку на замок, и Олёша уйти дальше двора никуда не может. Но он не сердится. Он понимает: сердиться на маму сейчас нельзя.

Проводив маму на работу, он сразу вынимает из потайной щели за печкой тот самый гвоздь — большой, крепкий, с колким остриём. Подобрал его Олёша на мостовой, когда в последний раз был на улице, и теперь вот, пока до задуманной постройки ещё далеко, употребляет находку на другое, тоже полезное дело. Гвоздь у Олёши — вместо карандаша.

Рисует он гвоздём прямо в прихожей на переборке. В прихожей сумрачно, рисунков мама не замечает или делает вид, что не замечает, и Олёша исчертил всю стенку вдоль и поперёк.

На крашенных тёмных досках проступают здесь и там по всей стенке странные, похожие на большие деревья цветы. Под цветами стоят кривобокие теремки с печными трубами, из труб вылетает и завивается поросычьими хвостиками дым, а вокруг, даже по небу, бегают тонконогие, тонкорукие человечки.

Рисованные человечки улыбаются. Олёше очень хочется, чтобы они были как живые, чтобы в пустом доме было с кем поговорить.

Но человечки улыбаются молча, и поговорить не с кем. Разве только с котом. Кота зовут Милейший. Как рассказывала мама, это имя дал коту ещё до войны отец. Кота он подобрал совсем крохотным где-то в осеннем поле под холодным дождём, принёс домой, посадил на печку и сказал:

— Ну, милейший, отогревайся, живи...

И Милейший стал жить. И вот с тех пор очень вырос. Он стал большим угольно-чёрным котом-котофе-



ем и, хотя он Олёше ровесник, всё равно считает себя намного умней и серьезней. Когда мама на работе, кот сам, по своей воле, приглядывает за Олёшей, не отходит от мальчика ни на шаг.

Олёша рисует на переборке, а Милейший вьётся вокруг, проводит по голым Олёшиным коленкам тёплым боком, пушистым хвостом и слушает Олёшины рассуждения.

— Вот нарисовать бы такой теремок, а в нём такую дверь, чтобы она открывалась по-настоящему. И мы бы с тобой туда вошли, а там — серебряная комнатка, в комнатке золотой столик, за столиком сидят мои человечки, болтают ногами, хохочут, разговаривают и пьют чай с малиной. С малиной и с сахаром! Правда, весело?

— Мр-р, мр-р... — отвечает Милейший. — Мр-р, мр-р...

— Мур-мур! Мур-мур! — передразнивает Олёша. — Ничего ты не понимаешь, потому что тебе и так неплохо. Я знаю, ты по ночам бегаешь на улицу, у тебя там приятели. Скажи, есть у тебя приятели?

Но кот о ночных прогулках помалкивает, и Олёше становится скучно.

Шлёпая босыми ногами по скрипучим половицам, он идёт на кухню. Невысокое окно кухни сплошь закрыла черёмуха. Отцветающие кисти ломаются прямо в стёкла, врываются в распахнутую форточку. На полу, на клеёнке стола нежными белыми чешуйками лежат привядшие лепестки, вся кухня полна их сладковатым запахом.

Олёша выдвигает из-под крышки стола ящик. Там, как всегда, чёрствая долька хлеба, катаются две серые, неочищенные картофелины да стоит чайная жестянка с крупной солью. Это всё, что по нынешним трудным временам может оставить мама Олёше на обед. Но до обеда Олёша не вытерпливает. Он съедает и картошку, и хлебный ломтик с утра, за один присест, лишь отламывает самую малость от корочки и угощает этой малостью кота.

Предлагает он Милейшему и картофельные кожурки, но Милейший на них даже не смотрит.

— Ишь, какой сытый! В подвале за мышами наохотился! Ну, ничего. Мне тоже теперь не так скучно, — говорит Олёша, глядя себя по животу, и сразу добавляет: — Пойдём теперь посмотрим в дырку.

Чтобы посмотреть в дырку, надо выйти во двор. Олёша

отворяет тяжёлую дверь в тёмные сени, потом другую дверь на крыльцо, и в глаза ударяет золотисто-голубой свет.

К лицу ластится ветерок, шевелит волосы, забирается под воротник розовой рубахи, Олёше приятно и немного щекотно. Он смеётся, громко чихает от солнца, от ветра, говорит сам себе:

— Будь здоров!

Милейший тоже жмурится от солнца и медленно, по-хозяйски оглядывает узкий дворик. Земля тут покрыта мягкой муравой, по мураве тропка, она уходит под калитку в старых тесовых воротах.

А в плотной калитке проделана круглая дырка для ремешка щеколды. Ремешок тонкий, дырка почти вся свободна, и в неё можно глядеть. Олёша, пытая и покряхтывая, катит от поленицы толстый чурбан, встаёт на него и припадает к дырке.

Видно ему лишь небольшую часть улицы, но смотреть всё равно интересно.

Если глянуть в дырку с утра, то в неё видно, как под липами по сизой и влажной от росы мостовой торопятся к фабрике небольшими стайками работницы в белых платочках и с узелками в руках. Они громко разговаривают, поглядывают по сторонам, даже на Олёшину калитку смотрят, но самого Олёшу не видят.

Они даже и не подозревают, что Олёша здесь. И получается так, как будто Олёша уж не Олёша и стоит не за калиткой, а надел на себя волшебную шапку и стал мальчиком-невидимкой. Он-то всех в дырку видит, а его — никто!

А если подождать ещё немного, то слева за калиткой сначала зафырчит мотор, а потом по мостовой промчится старый, обшарпанный грузовик. На грузовике, крепко держась друг за друга, проедут куда-то шумные загорелые мужики в солдатских гимнастёрках. И хотя грузовик промелькивает быстро, Олёша каждый раз успевает разглядеть в кабине рядом с водителем знакомого плотника Арсентия.

Арсентий тоже недавно вернулся с войны. Мама с Олёшей ходили к нему. «Вдруг Арсентий нашего папку на войне видел? Вдруг он про него знает что-нибудь другое?» — сказала тогда мама, и стала даже лицом посветлей, и даже перемыла в доме все окна, которые нынешней весной так ни разу ещё и не открывались.

К Арсентию они собрались уже на третий день, когда солдат отпраздновал своё возвращение.

Он, широкоплечий, кудрявый, в распушенной поперх галифе гимнастёрке, стоял с топором в руках у крыльца, видно, собирался его подновить, а когда увидел Олёшу и Аннушку, то сразу топор воткнул в ступеньку и пошёл к ним навстречу. Пошёл — и Олёша тут же увидел, что Арсентий хром. Правая нога у него не гнётся, и при каждом шаге он загребает этой ногой низенькую траву. Но толстогубое, с впалыми щеками лицо Арсентия — доброе, карие глаза улыбочивые. Олёша подумал, что он и расскажет им с мамой тоже что-то очень хорошее.

Только вышло всё не так. Разговор получился грустный. Мама во время разговора смотрела в землю, теребила дрожащими пальцами чёрные концы платка и всё почему-то называла Арсентия, который был нисколько её не старше, по имени-отчеству — Арсентий Лукич.

А тот тоже смотрел в землю. И хотя улыбался, но улыбался так, будто был в чём-то очень виноват. В чём — Олёша не понял. Он только понял, что Арсентий за всю войну об отце ничего не слышал.

Кроме того, над головой Олёши вдруг растворилось окно, и в нём показалась румяная, гладко причёсанная, в цветном платье жена Арсентия. Она высунулась из окна до половины и принялась так жалостно вздыхать, так смотреть на маму, что Олёше сделалось неприятно. С той поры Олёша с мамой расспрашивать про отца уже никуда не ходили, а мама стала опять повторять:

— Надеяться нам теперь не на кого и не на что...

Воспоминания наплывают на Олёшу, но он тут же и забывает о них. Ему очень интересно, куда это каждое утро ездят мужики на машине. Ему всё-таки хочется выбежать за калитку, и на всякий случай он трогает щеколду за железное кольцо. Кольцо поворачивается, планка с тихим звяком подымается, но калитка — ни с места. На той стороне — висят замок.

— Опять заперто, — объявляет Олёша коту. — Ну ладно... Давай играть с тобой. Что ты там делаешь?

А Милейший в это время сидит под черёмухой у самой стены дома и во все свои зелёные глазищи смотрит на трухлявый нижний венец. Там шуршит жук-древоед по прозванию

Шашель, и кот опасается, как бы этот Шашель не выполз и не напугал Олёшу. Кот весь так и насторожился.

Но Олёша жука не боится. Он присаживается рядом с котом на корточки, ковыряет гвоздём стенку.

— Сейчас мы ему поможем. Его там, наверное, мама-жучиха закрыла, а ему хочется к нам, под солнышко. Пусть выходит.

Древесная труха сыплется на траву, на Олёшины колени, гвоздь работает, как бурав, и жук внезапно стихает, прячется куда-то глубже.

— Не захотел! — удивляется Олёша. — Вот глупый! Если бы кто мне калитку открыл, я бы сразу на волю выглянул.

И опять идёт к запертой калитке, опять блямкает кольцом, но — бесполезно.

Таким вот манером ходит Олёша по тихому, скучному двору с утра до вечера, а кот ходит за ним, и все дни для Олёши одинаковы, похожи друг на друга.

Но вот однажды он повернул кольцо, железная планка поднялась, калитка вдруг скрипнула и — отворилась!

Олёша так и замер.

Перед ним распахнулась вся от конца до конца улица.

Перед ним разбежались вправо и влево тенистые липы. Он увидел голубые и жёлтые, синие и розовые, большие и маленькие, деревянные и кирпичные соседние дома, белёные заборы, сквозные весёлые палисадники, пёстрые цветы — и было всё это вдруг таким ярким, таким невозможно манящим, что Олёша услышал, как в груди у него застучало сердце.

Кот выгнул спину, хрипло мяукнул:

— Мау!

Днём на улице он тоже почти не бывал. Он знал её только серой, ночной, а такой вот празднично-светлой увидел чуть ли не в первый раз.

Правда, на улице было пусто. Все, кому надо, уже прошли и проехали на работу. Но за домами в садах громко звенели ведра, весело гомонили ребятишки, и где-то совсем далеко в каком-то дворике ласковый женский голос всё выкликал какую-то Манюшку:

— Манюшка, где ты? Манюшка, где ты? Ау! Где наша Манюшка?..

Голоса манили, яркая улица звала, но переступить порог в калитке Олёша так вот сразу не решался.

Он вспомнил: вчера мама до ночи стирала бельё, а наутро проснулась и перепугалась:

— Ох, опаздываю!

На работу она так спешила, что даже оставила на табуретке свой чёрный платок и, как видно, калитку не замкнула тоже второпях.

И Олёша стоит, глядит и не знает, что делать.

Он уже хотел было толкнуть калитку, закрыть от греха, да вдруг увидел в собственной руке гвоздь.

Увидел — и обрадовался.

Обрадовался и сказал коту:

— Ага! Нам же дом строить надо! Нам же гвоздей собирать надо! Вдруг на улице ещё гвозди лежат? Пошли?

Кот глянул на мальчика так ясно, так понятно, словно тоже хотел сказать: «Пошли!» — и прыгнул через доску-порог. Олёша — раз, два! — перешагнул доску за ним. А потом прикрыл за собой калитку, накинуд на пробой цепочку и погладил калитку ладонью:

— Не бойся, мы скоро...

2.

Гладкие булыжники мостовой грели, как печка. Стоять босыми ногами на них было приятно.

Мостовая уходила одним концом вверх, к белокаменной фабрике, другим концом убегала под гору. Под горой городские дома и верхушки лип исчезали. Там, дальше, просторно распахнулись луга, поблёскивала далеко и чуть приметно речка, за речкой уходил к самому горизонту сосновый бор.

Олёша задумался: куда идти? Вверх или вниз? Но тут из раскрытых ворот фабрики выкатилась конная подвода, затахтела колёсами по булыжной мостовой. Лошадь бежала рысцей, звонко цокала подковами, а на телеге, на мягких

пачках с новыми рубахами, сидел рыжий краснолицый парень без шапки. Он увидел Олёшу, увидел кота, засмеялся:

— Эй, вы, босоногие! Поехали, до Москвы прокачу!

Олёша понял, что рыжий шутит, и ответил тоже весело:

— Не-а! В Москву нам не надо. Нам гвозди собирать надо. Поезжай один.

За грохотом колёс возчик ответа не расслышал. Телега, дробно подпрыгивая, покатилась под гору. Олёша посмотрел из-под руки вслед, решительно вздохнул и тоже пошёл под гору.

Гора была длинной. Дорога спускалась тут в луга широкой выемкой, по откосу шагали телеграфные столбы, за столбами виднелись коньки окраинных домишек.

К домишкам по крутой тропе маленькая, сухонькая старуха в просторной кацавейке и в серых валенках с калошами тянула на верёвке сердитую козу. Коза упиралась изо всех сил. Как видно, возвращались они с лугов, а время было ещё раннее, и коза идти домой не хотела. Она орала что есть мочи, крутила рогами, тянула хозяйку вниз, а хозяйка — вверх, и перетянуть друг дружку они не могли, бестолково топтались на месте.

Олёша сказал коту:

— Гляди, что делается! Погоди-ка...

Милейший уселся на краю дороги, Олёша побежал по тропе вверх.

Ни слова не говоря, он шлёпнул козу по мосластой спине; коза удивлённо мемекнула, пробежала шага три-четыре вперёд. Старушка тоже попятилась вверх по тропе, радостно закивала:

— Спасибо, ангел, спасибо. Шлёпни ее, негодницу, ещё разок!

Олёша опять шлёпнул, коза опять пробежала чуть-чуть, и старушка опять похвалила:

— Умница! Погоняй её, погоняй.

Когда взобрались на самый верх, старушка придерживала «негодницу», взялась за сердце и сказала:

— Ух!

Потом отдышалась, протянула руку, осторожно двумя пальцами пощупала воротник Олёшиной розовой рубахи.

— Экий ты баский. Экий ты хороший. Чей хоть будешь-то?

— Я мамин, — ответил Олёша. — А ещё Козырев. Я гвозди пошёл искать.

Он раскрыл потную ладонь, показал гвоздь и торопливо принялся объяснять:

— Надеяться нам с мамой не на кого, а надо строить дом, и я пошёл собирать гвозди, и как только насобираю, накоплю, так сразу дом построю... Вот!

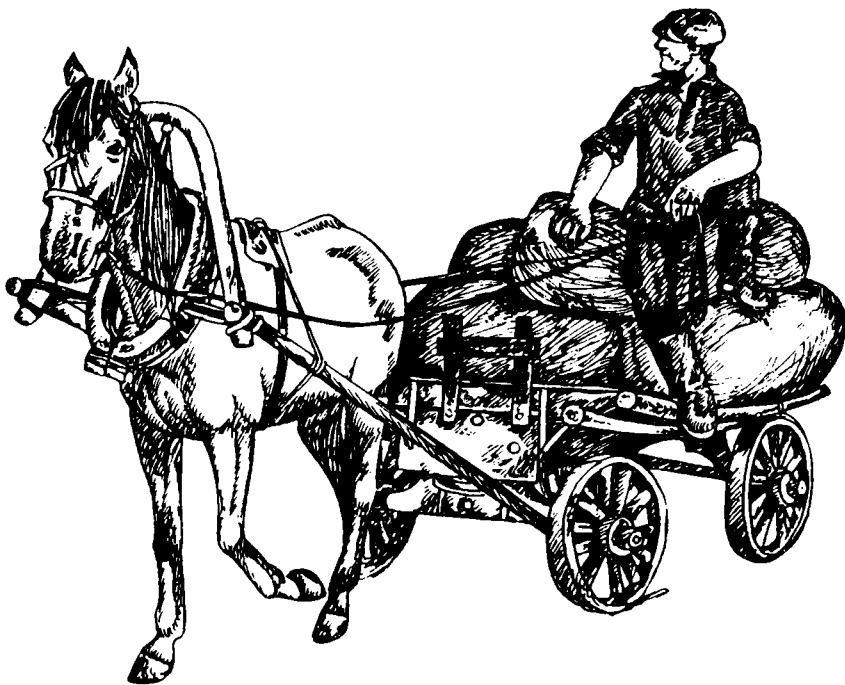
Старушка удивилась, долго смотрела на Олёшу, долго старалась понять, в чём дело, наконец поняла.

— Верно! Собирай, копи. Вырастешь — хозяйственным мужиком будешь. Маминым кормильцем. А для почина вот тебе... На-ко!

Она пошарила в глубоком кармане юбки и сунула в Олёшину ладонь приятно круглое, в белой скорлупе яйцо.

— Прими, скушай. Утром варила.

Яички Олёше перепали нечасто. Он крепко стиснул гостинец в кулаке, помчался вниз. Потом встал, оглянулся.





— Бабушка, бабушка! Вот построю новый дом, так ты сразу приходи к нам в гости. Придёшь?

— Приду. Только ты поживей строй, поторапливайся...

— Ме-е! — завопила упрямая коза, и старушка не договорила, поволокла козу дальше.

Олёша понюхал яичко. Оно было тёплое и ничем не пахло. Тогда Олёша присел на корточки, показал подарок Милейшему. Тот обнюхал яичко и даже облизнулся. Нюх у него был тоньше, и он сразу понял, что под скорлупой что-то очень вкусное.

— Не облизывайся — сказал Олёша. — Яичко оставим на потом. Обратного пути потом будет шибко тяжело.

После старушкиной похвалы Олёше мерещились целые россыпи новеньких гвоздей. Ему думалось, вот стоит пройти ещё немного — и прямо на дороге он увидит гвоздь, потом ещё гвоздь, а потом ещё.

Он даже головой с досадой покачал, что не догадался прихватить из дому корзинку или пустое ведро.

— Ну, ничего... Унесу сколько смогу, в руках и в кармане, потом вернусь опять.

Мостовая меж тем давно кончилась. Дорога стала мягкой, пушистой. Босые ноги тонули в пыли по самые лодыжки. Милейший брезгливо, как тёплую воду, попробовал топкую пыль кончиком лапы, отпрыгнул на твёрдую обочину и, то и дело огибая запашистые кусты пижмы и полыни, затрусил стороной.

Вдоль дороги за кустами тянулся колхозный капустник. По его краю медленно двигались в наклон женщины-огородницы. В руках у них взблёскивали тяпки, босые ноги, как в чулках, были в чёрной земле, а головы до самых глаз укутаны от солнца платками.

Вот одна бросила тяпку, принялась подтыкать под платок непослушные волосы, и Олёше показалось — это мамина подруга тётя Настя. Объявляться тёте Насе не стоило, Олё-

ша пригнул голову и помчался по-за кустами вдоль капустника всё дальше и дальше по пыльной и солнечной дороге.

А гвоздей всё не было. Правда, один раз в пыли тускло блеснуло. Но когда Олёша кинулся туда и схватил, то это оказалась какая-то непонятная железина, вся в густой тракторной смазке.

Олёша кинул железину в канаву и провёл масляными руками по рубаше. На животе, на подоле отпечатались полосы. Олёша попробовал их стереть, но полосы лишь размазались и стали ещё заметнее.

Настроение испортилось. Олёша вдруг почувствовал, как знойно и душно вокруг, как непокрытую голову припекает солнце, во рту сухо, на губах солоноватая шершавая пыль.

Олёша перелез канаву, проломился сквозь пыльные, словно в белесой муке, заросли и вышел на край сочной зелёной луговины. Там он опустился на траву, стал вытирать руки.

Тёр, тёр, и только вытер, как вдруг услышал: где-то что-то шуршит. Олёша приподнялся на четвереньках, да так и замер.

Перед ним в двух шагах стоял серый зверь.

Зверь был остроухий, остромордый, с мохнатым большим хвостом.

«Серый волк!» — ужаснулся Олёша, сунул руку в карман, ощущал гвоздь, на всякий случай зажал его в руке, по спине пошли мурашки.

А зверь шевельнул хвостом, шагнул к мальчику.

Олёша гвоздь выпустил, собрался закричать, но тут из травы — злой, чёрный, дико встопорщенный — вымахнул кот. Он пал на все четыре лапы, бешено фыркнул:

— Ф-фу!

Зверь вскинул голову, попятился.

Милейший подпрыгнул на месте, фыркнул ещё громче:

— Ф-фу!

Зверь поджал хвост и с оглядкой, с тонким визгом помчался в сторону капустника.

Милейший выпрямил спину, прижался к Олёшиным голым, в гусиных пупырышках ногам, и так вот, плотно прижимаясь к ним, сделал торжественный круг: не бойся, мол! Со мной не пропадёшь. Это и не зверь совсем, а паршивенькая, трусливенькая дворняжка.

— Да я и не боюсь, — разгадал котофеевы мысли Олё-

ша. — Я только сначала напугался, а теперь вот и поесть почему-то захотел... Давай поедим?

— Мр-р! Мр-р! — сказал кот, и Олёша достал из кармана и расколул гвоздём яичко.

Они уселись на примятую траву рядом, и на этот раз Милейшему достались не скорлупки, а добрая половина желтка, добрая половина белка — в общем, всё то, что ему полагалось по справедливости.

Но шагать по пыльной дороге уже расхотелось. Теперь хотелось лишь так вот, руки в стороны, лежать на спине среди травы и глядеть в небо. «Когда смотришь в небо, — говорит мама, — отдыхают глаза. Отдыхают и становятся чище».

Глаза у Олёши и так чистые, тоже синие, но глядеть в небо он любит.

Он лежит, а над ним качаются на зелёных тонких соломинках пушистые хвостики созревающей тимopheевки. Высоко над Олёшиным лицом возносит лилово-красные шапки сочный клевер. Над клевером бесшумно кружит бабочка, а там дальше, выше, так высоко, что захватывает дух, — бездонное небо.

В небе ни облака. Взгляду задержаться там не на чем. И Олёше вдруг начинает казаться, что небо не над ним, а далеко внизу под ним, и он вот-вот упадёт, навсегда улетит в эту синюю пропасть...

Олёша вскакивает на корточки и даже щупает вокруг себя лужайку. А под руками опять ласковая трава, а под ногами опять крепкая земля, на согретой солнцем земле хорошо — только вот каплю водички бы!

Жажда приходит снова, и Олёша вспоминает речку, которую видел с горы. Он говорит Милейшему:

— Сбегаем, попьём, на рыбок посмотрим, а там домой. Гвоздей на дорогах нынче нету.

И вот они опять бредут по краю дороги. Близко ли речка, далеко ли, Олёша не знает. «Наверное, не очень близко», — думает он, и на память ему приходит рыжий возчик. Если бы сейчас подвода очутилась рядом, то прокатиться на ней до речки Олёша бы не отказался.

И только он так подумал, как позади раздалось очень сильное громыханье и шлёпанье. По дороге от города мчался тот самый старенький грузовик, на котором каждое утро куда-то ездят мужики. Но теперь над ним высилась груда жёлтых длинных досок. Доски гибкие, свисают с кузова, и когда

грузовик ныряет в ухабы, то доски шлёпают друг по другу и над лугами раздаётся громкое: «Трах! Трах! Трах!»

— Вот кто нас подвезёт! — обрадовался Олёша, схватил кота в охапку и выскочил на самый край дороги.

А грузовик был уже рядом. Олёша даже увидел круглое, распаренное лицо шофёра, даже разглядел его кожаную фуражку, и шофёр кивнул, помахал рукой, но хода не убавил. Он как мчался на полной скорости, так и промчался дальше. «Трах! Трах! Трах!» — прошлёпали рядом доски. Олёшу и кота накрыло душное облако пыли.

Олёша закашлялся, опустил кота на дорогу, с обидой сказал:

— Жадина! Тоже мне, знакомый!

Он совсем позабыл, что знакомство-то было через дырку. Что сам он машину и шофёра видел сто раз, а они его — ни разу.

И расстроенный Олёша повернул бы домой, да откуда-то потянуло приятной свежестью. Кот поставил торчком хвост, побежал трусцой, Олёша — делать нечего — потянулся за ним. А когда они вззошли на небольшую горку, то сначала услышали шум падающей воды, а потом увидели внизу речку, ивы и широкий омут. Над омутом играли ласточки, но писка их из-за шума воды было не слышно.

3.

Омут подпирала новая плотина, усыпанная жёлтой щепой. Медленное течение в омуте ходило воронками. Вода с протяжным гулом врывалась в деревянный жёлоб, с жёлоба падала вниз, в другой омут, и там вся в белой пене бурлила, старалась подмыть берег с тенистыми большими ивами, но под навесом ветвей мало-помалу успокаивалась и бежала дальше через луга к сосновому бору.

Под плотиной у водопада стояли радуги. Они были маленькие, но совсем настоящие — весёлые, семицветные. На

гребне плотины стучали топорами плотники, двое разгружали ту самую машину с досками. Шофёр копался в моторе, он почти целиком влез под высоко поднятый капот.

Олёша как только заметил шофёра, так сердито отвернулся и стал смотреть на новенький бревенчатый сруб.

Возле сруба на траве громоздилось что-то круглое и непонятное. Там, всё так же закидывая чуть вбок раненую ногу, расхаживал и постукивал молотком Арсентий. Семицветные радуги наплывали на Арсентия, он то и дело утирался рукавом гимнастёрки, но работу не бросал.

Олёша хотел подбежать, расспросить, что это он такое делает, но вспомнил тот грустный разговор, когда ходили к Арсентию с мамой, и спрашивать раздумал. Он помчался вслед за Милейшим.

Кот спустился вниз по крутому берегу, по высокой траве, припал к воде всей грудью и быстро залакал узким языком. Олёша, хватаясь руками за траву, задом наперёд тоже полез к воде, но тут его увидел и сам Арсентий.

— Ага! Старый знакомый! — закричал он. А потом широко взмахнул руками, широко шагнул и ловко поймал Олёшу за воротник.

— Ты куда? Утонешь. Там с ручками не достать. Пить, что ли, захотел?

— Пить, — ответил Олёша.

— Ну, коли пить, так айда за мной, — сказал Арсентий и — ширх, ширх — подминая траву и размахивая рукой так, словно косил, пошёл в тень под ивы.

Там он раздвинул дремучую крапиву, кусты багульника, зачавкал по мокрому сапогами, и Олёша увидел зелёную, всю заросшую мхом каменную кладочку. Из кладочки торчал ослизлый деревянный лоток, с него тонко цедилась в крохотную лужицу прозрачная струя.

С краю лужицы поблёскивала на траве жестяная самодельная кружка. Арсентий кружку поставил, вода зазвенела по тонкому донцу, потом зажурчала, потом забулькала — и кружка наполнилась до краёв.

— Пей! Ключевая, сладкая... В омуте совсем не то.

У Олёши заломило зубы, даже внутри живота стало холодно от ключевой воды, и он выпил только половину кружки. Остальное допил Арсентий, зажмурился, утёр толстые губы ладонью, крякнул:

— Порядок!

Олёше вдруг стало очень просто, очень свободно с Арсентием. Он спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Колесо.

— Какое колесо?

— Пойдём посмотрим.

У плотины и впрямь лежало колесо. Только это было не какое-нибудь простое колесо, а огромное. Оно даже лежащее было выше Олёши, а если его поставить стоя, то до верха не дотянулся бы и сам Арсентий. Между двух круглых деревянных боковин в нём виднелись крепкие дощатые перегородки.

— Ого! — сказал Олёша. — Это такая великанская телега будет?

Арсентий засмеялся:

— Чудак! Это колесо—водяное. Оно жернова станет крутить, зерно молотить, муку вырабатывать. Вот достроим мельницу — и будет наше Батурино с хлебом. Со своим.

Про муку и хлеб Олёша понял сразу. Понял, потому что не раз они с мамой Аннушкой сживали на одной картошке. Не раз мама приходила из магазина с пустой кошёлкой, сердито совала её в угол и говорила: «Опять хлеба нет. Опять пекарня без муки. Ну когда это кончится?»

Муку в городок доставляли издалека, весной и осенью по бездорожью, а своя мельница обветшала и сломалась. Чинить её было некому, потому что все способные к этому делу работники ушли на войну. И вот каждый раз, когда кошёлка была пустой, мама вздыхала: «Видно, уж только тогда всё наладится, когда солдаты к домам придут».

После таких слов мама всегда замолкала. На глаза у неё набегали слёзы, и она отворачивалась. Она старалась, чтобы Олёша этих слёз не увидел, но Олёша всё равно видел и понимал: плачет мама об отце. Она всегда, когда хлеба не хватало, вспоминала об отце, и в такие дни Олёша хлеба не просил.

Он и Арсентию ничего не сказал про всё это, лишь грустно произнёс:

— Хорошо, что хоть ты вернулся.

— Куда вернулся? Откуда? — не понял Арсентий.

— Оттуда. С войны.

Арсентий удивлённо поглядел на мальчика. Его худое со впалыми щеками лицо опять, как тогда, стало немножко рас-
терянным, и он ответил тоже тихо:

— Да, брат, хорошо. Конечно, хорошо...

Но Олёша думал уже о другом. Он окинул взглядом ко-
лесо, уважительно похлопал по нему ладошкой.

— Сам делал? Один?

И Арсентий вопросу обрадовался, даже засиял весь, бы-
стро заговорил:

— Ты что? Разве один такую махину своротишь? Ни в
жисть не своротишь! У меня друзья. Коллектив, так сказать...
Я тут последки доделываю.

И, то ли желая немного похвалиться, то ли желая окон-
чательно убедить Олёшу в будущей замечательной жизни,
плотник махнул на колесо рукой, сказал:

— Мельница с водяным колесом — дело невеликое, до-
потопное. А вот мы настоящую заводскую турбину полу-
чим — тогда, друг ты мой, поглядишь и ахнешь! Тогда цель-
ный комбинат построим и будем кормить не только себя, а и
всех соседей! Смотри, как фронтовички стараются. Гвардия!

На плотине по-прежнему стучали топорами рабочие, и
были они тоже все в выцветших добела гимнастёрках. Дело
у них шло так дружно, топоры постукивали так складно —
тюки-тюк! тюки-тюк! — что Олёше захотелось и про себя ска-
зать что-нибудь хорошее.

— А я вот гвозди собираю, — громко заявил он. — Один
уже нашёл. Показать?

— Покажи.

Олёша вынул гвоздь, и на широкой ладони Арсентия тот
показался намного меньше, чем был на самом деле. Но Ар-
сентий железную вещицу внимательно осмотрел и даже слег-
ка подкинул:

— Отличная штука!

Олёша обрадовался:

— Ещё какая отличная! Я, знаешь, кем буду? Я хозяй-
ственным мужиком буду. Накоплю гвоздей — и буду. Вот.

— Кем? — изумился Арсентий, и в карих глазах у него
запрыгали смешливые искорки. — Кем-кем?

— Мужиком. Хозяйственным, — повторил Олёша, но тут
же развёл огорчённо руками: — Только тихо гвозди-то копят-
ся. У меня один вот этот и есть. Я, знаешь, что им дома делаю?

— Что?

— Человечков рисую. На переборке. Они такие смешные, такие весёлые, только что не говорят. Но зато мы с котом разговариваем. Правда! Как мама на работу уйдёт, так мы с ним и разговариваем.

— О чём?

— Обо всём! О солнышке, о траве, о доме, о человечках, о маме. Мы только про папку с ним не разговариваем. Про папку говорить грустно. Плакать почему-то хочется...

Улыбка на лице Арсентия погасла. Он тихо накрыл шершавой ладонью голову мальчика, запрокинул её легонько и пристально взглянул в Олёшины синие глаза.

— Да, брат...

Потом помолчал и опять сказал:

— Да, брат...

И вдруг склонился так близко к мальчику, что Олёша увидел себя в его тёмных зрачках, и зашептал быстро-быстро:

— Ты знаешь что? А ведь папка твой, может быть, и вернётся. Честное слово, может, вернётся... Это бывает. Это с солдатами очень даже бывает. Вот и письмо про него пришлют, и уже все навроде бы простятся с ним, а солдат — возьмёт и придёт!

— Верно? — прижал руки к груди и даже отступил на один шаг Олёша.

— Верно! Честное солдатское, верно! Мне бы и тогда вам про то ска-





зять, да, понимаешь, не сообразил я... Растерялся.

— А теперь не растерялся?

— Теперь нет. Теперь думаю, вернётся. Должен вернуться!

— Живой-живой?

— Конечно, живой!

— Ну, может быть, раненый. Как я. Ну, может быть, и не очень ещё скоро.

— Это ничего, что не скоро! — замахал руками Олёша. — Это ничего! Я потерплю. Я ужас какой терпеливый! Хочешь залезу в крапиву и стану терпеть? Не веришь?

— Верю, верю, — уже опять ласково и почти легко сказал Арсентий. Сказал — и даже вздохнул, выпрямился, будто сронил с плеч целую гору. — Верю. Да только в крапиву лазить не надо, а лучше лезь на колесо. Поработаем вместе... Идёт?

Олёша обрадовался, закивал и полез по шаткой лесенке на колесо.

4.

На колесе было ровно и гладко, как на столе. Там одиноко торчал плотницкий ящик. Олёша заглянул в него и увидел топор, молоток, пилу-ножовку и кучу гвоздей, очень похожих на тот, что лежал у него в кармане. Арсентий, опираясь на руки, медленно сел, хлопнул возле себя ладонью:

— Давай молоток, подноси гвозди.

И Олёша стал подносить гвозди.

Арсентий забивал их в доски почти с одного раза. А как забьёт, так обопрётся руками, пересядет, скажет Олёше:

— Давай новый гвоздь. — И опять у них на колесе идёт весёлый стукоток.

Время близилось к полудню. Раскалённое солнце поднималось всё выше и выше. Тени от густых, с дремотно опущенными ветвями ив почти пропали, и работать на колесе стало жарко. Но чуть заметное движение воздуха от плотины нет-нет да и наносило водяную пыль, и тогда Олёша подставлял ей разгорячённое лицо, ловил эту влажную морось губами, а потом, подражая Арсентию, утирался рукавом своей теперь уже вконец измаранной рубахи.

Да что рубаха? Про неё Олёша и думать позабыл. Так славно, как сейчас, ему не бывало никогда.

Он смотрел, как ловко взлетает молоток в руках Арсентия, прислушивался, как бойко и складно стучат топоры на плотине, и у Олёши под этот стукоток прямо-таки сама собой выпевалась не то считалочка, не то песенка:

Туки-тук!
Туки-тук!
Папка едет,
Папка тут!

Пел он, конечно, даже не шёпотом, а про себя. Запеть вслух он стеснялся. Но было ему всё равно хорошо, и он даже попробовал заманить на колесо Милейшего.

Тот устроился на куче брёвен у самой реки, на Олёшин зов чутко оборачивался, умильно щурил глаза, но идти на колесо, по которому Арсентий так бухал молотком, не желал. Ему там, на брёвнах, было тоже отлично.

Наконец Арсентий пристукнул особенно громко и сказал:
— Всё!

Олёша заглянул в ящик: гвозди там кончились.

Арсентий сказал:

— Надо бы серёдку чуть покрепче уколотить, ну да ладно. Сойдёт.

Он постучал молотком по доскам, прислушался и опять подтвердил:

— Пожалуй, сойдёт...

И тут Олёша вдруг сел на корточки, выхватил из кармана свой гвоздь и протянул Арсентию:

— На! Давай забьём и вот этот.

Он протянул свой драгоценный гвоздь, сам не зная почему. Он об этом не успел даже подумать. Он только испугался, что работа сейчас кончится, что Арсентий встанет и скажет: «Ну, брат, спасибо! Теперь беги домой!» — и тогда всем этим прекрасным минутам тоже придёт конец, и песенке про папку тоже придёт конец, и вот он поэтому испугался и протянул гвоздь, и повторил:

— Давай забьём! Ну пожалуйста...

Арсентий кинул на Олёшу быстрый взгляд и сразу всё понял.

— Ну, когда так... — сказал он и на обеих руках передвинулся к центру колеса, туда, где темнела квадратная ды-



ра для толстой оси. — Ну, когда так, забивай сам. Вот здесь наиважнейшее место.

— Сам? — так и всколыхнулся Олёша.

— Сам. Бей, да только не согни.

И Арсентий показал пальцем, куда бить.

Олёша взял тяжёлый молоток, нацелил на это место гвоздь и тихонько тукнул по шляпке. Гвоздь немного вошёл.

Олёша снова тукнул, и гвоздь ещё чуть-чуть вошёл.

Олёша тукнул два раза подряд — гвоздь как был, так и остался стоять.

— Колоти смелей! — приказал Арсентий, и тут Олёша начал бить смелей, и гвоздь пошёл, пошёл, пошёл, и вот весь до самой шляпки скрылся в дубовой доске, в самом наиважнейшем месте.

Арсентий перехватил молоток, добавил ещё один хлёсткий удар, сказал своё любимое словцо:

— Порядок!

А ещё он сказал:

— Я так и знал, Олёша, ты мужик компанейский.

— Какой? — переспросил Олёша.

— Компанейский. Не для себя одного, а для всех, значит. Пойдём перекурим...

Они слезли вниз, уселись на старое щелястое бревно у самого родника, Арсентий скрутил папиросу, набил махоркой, от папиросы поплыл горьковатый дым. Но Олёше этот запах был приятен.

Олёше вдруг почудилось: когда-то где-то он этот запах уже вдыхал. И он опять услышал в самом себе песенку: Туки-тук! Туки-тук...

А в Арсентии ему нравилось теперь всё до капли. Ему нравилось и то, как плотник бережно поглаживает крепкой ладонью своё больное колено, как закидывает кудрявую голову и пускает вверх, подальше от Олёши, табачный дым, и даже то, как после каждой затяжки он морщится и сухо покашливает.

Наконец Арсентий докурил, встал и опять шагнул к роднику. Только на этот раз он вынес из прохладных зарослей не кружку с водой, а солдатский мешок.

— Развязывай, — сказал он Олёше. Тот потянул завязку, и туго набитый мешок сам раскрылся.

На самом верху там заманчиво горбатилась непочатая буханка, сочно зеленели луковые перья, а под этой вкуснотой лежало что-то ещё.

Дальше Арсентий принялся опрастывать мешок сам. Из мешка появилось объёмистое, величиной с добрый таз эмалированное блюдо, берестяной тяжёлый бурак, соль и варёная картошка.

— Чистить умеешь?

— Умею, умею! — сказал Олёша, схватил картофелину и принялся чистить.

Арсентий покрошил ножом-складнем в блюдо картошку, лук, щедро посолил всё это и залил из бурака жёлтым шипучим квасом. Затем он вдруг сунул пальцы в рот и так свистнул, что у Олёши заложило в ушах, а кот Милейший проснулся, подпрыгнул и кинулся под брёвна.

Стук топоров на плотине разом умолк. Арсентий кинул на траву пустой мешок, разложил на нём хлеб и поставил блюдо с квасом.

Олёша оглянуться не успел, как вокруг собралась целая толпа мужиков. Вблизи он их всех узнал. Это были те самые мужики, за которыми он следил по утрам через дырку в калитке, но они-то Олёшу, конечно, как тот шофёр, не узнали.

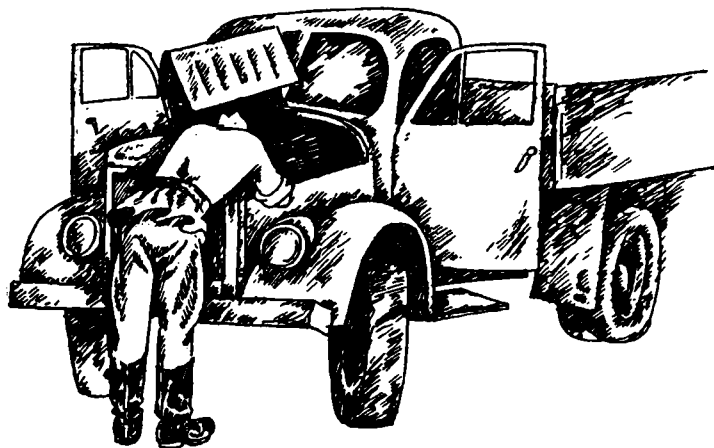
Один, седоватый, бровастый, с цыганской бородищей во всю грудь, ещё издали закричал:

— Ого! У Арсентия помощник. Ты где его мобилизовал, Арсентий?

— В кустах нашёл, — смеясь, ответил за Арсентия молодой парень с конопатым, озорным лицом, в распоясанной и расстёгнутой гимнастёрке. — В кустах нашёл! Долго ли ему? Он у нас — полковая разведка.

Двое других, один — худой, длинный и очень сутулый, другой — маленький, коренастый, с застенчивой белозубой улыбкой, ничего не сказали, только засмеялись.

А конопатый сдёрнул через голову тёмную от пота гимнастёрку. На его молочно-белой спине, под самой лопаткой, мелькнул нежно-розовый, сморщенный и глубоко впалый шрам. Мелькая этим шрамом, он запрыгал на одной ноге, стал стягивать сапоги, а стянув, кинулся к омуту, плюхнулся в глубокую воду всей пластью, заколотил, зашлёпал руками, ногами, заорал:



— Бла-адать! Ух, бла-адать! Всю жизнь мечтал!

Старшие мужики в омут не полезли. Они, подставляя по очереди ладони ковшиком под струйку родника, умылись, утёрлись подолами своих солдатских рубаш и расселись вокруг мешка-скатерти. Конопатый был уже тут как тут. Он пристроился прямо голышом, только и натянул на себя что брюки. А на мокрой груди у него розовел такой же шрам, только чуть поменьше. Олёша хотел спросить, отчего это, но конопатый парень был так шумен и весел, что Олёша подумал: ответит он обязательно что-нибудь насмешливое.

Арсентий глянул на стоящий вдали грузовик и спросил всех:

— Чижев почему не идёт? Особое приглашение надо?

— Он свой драндулет чинит. У него искра в колесо убежала. Пока не поймает, Чиж за руки не оттащишь, — весело объявил конопатый и вытянул из кармана брюк алюминиевую ложку.

Все тоже вынули ложки: кто из кармана, кто из-за голенища. Арсентий пристукнул по краю блюда, громко сказал:

— Наваливайтесь! А то «бульон» простынет... Чижев оставим.

— Куриный бульон, цена — миллион, в нём квас да картошка, да ещё и луку немножко, — подхватил шутку конопатый, а бородач сверкнул на него синими белками глаз, одобритительно усмехнулся:

— Складно у тебя, Дружков, получается. Тебе стишки надо в газету писать, а не топором тюкать. У тебя бы вышло.

— А я и то и это успеваю, даже с ложкой не отстаю, — ответил бойкий Дружков и принялся хлебать первым.

К блюду потянулись все. Только Олёша как стоял за спиной Арсентия, так и остался стоять, потому что хлебать ему было нечем.

Он шмыгнул носом, Арсентий обернулся:

— Чего стоишь? Присаживайся. — И тут же спохватился: — Мать честная! У тебя же ложки нет!

Он схватил с мешка складной с перламутровой отделкой нож, закрыл, повернул, опять открыл — и на рукоятке ножа появилась блестящая металлическая ложка.

Олёша на секунду и про квас позабыл, когда увидел эту ложку. Потом взял её, несмело потянулся к блюду, и похожий на цыгана плотник сказал:

— Смотри, какой деликатный... Да ты не бойся, шуруй. Поддевай чаще, тебе расти надо.



— Стесняется, — объяснил Арсентий, а Дружков усмехнулся: — Значит, не наработался. Вот поступит к нам в бригаду, стесняться перестанет. Как тот солдат...

— Какой солдат? — наконец-то промолвили высокий и низкий плотники. — Что за солдат?

— Тот самый! Который зашёл к старушке вечером в избу и говорит: «Бабушка, бабушка, дай попить, а то шей да каши хочется и ночевать негде!»

Все опять засмеялись. Олёша тоже улыбнулся и хотел сказать, что не стесняется, что похлёбку с квасом тоже заслужил, что работал вместе с Арсентием и даже гвоздь забил.

А ещё он хотел сказать, что папка у него тоже солдат и скоро, наверное, вернётся домой, да тут за рекой оглушительно грохнуло и с раскатистым рокотом покатилося во все стороны.

Плотники перестали хлебать, уставились в небо, а бородатый сказал:

— Ого! Бухнуло, как из гаубицы... Собирай манатки, пошли в сруб.

Олёша вскочил, посмотрел на реку. Там всё нахмурилось. Узкие листья на ивах зашумели, стали белыми. Радуги над омутом исчезли. Быстрые ласточки спрятались в норки, а над высоким обрывом на той стороне клубились, громадились, медленно наползали друг на друга тяжёлые гроззовые тучи.

По гребню плотины с берега на берег побежал пыльный вихрь. Он поднял высоко в воздух сосновую щепу и стружки. На небе опять сухо и раскатисто треснуло. Кот Милейший выскочил из-под брёвен, метнулся туда-сюда, увидел Олёшу, поскакал к нему, и Олёша обнял его поперёк живота.

А грузовик на плотине вдруг затарахтел, зафыркал, из выхлопной трубы пошёл кольцами дым, и голый по пояс Дружков захохотал:

— Ёлки зелёные! Чижев искру нашёл! Чижев молнию за хвост сцапал и в мотор вставил... Вот ловкач!

Но Чижев уже мотор заглушил, быстро захлопнул капот и, нагибаясь так низко, будто по нему стреляли, кинулся к срубу.

Бородатый плотник осторожно подхватил блюдо, тоже заторопился длинными шагами к укрытию, его товарищи побежали за ним. Только Арсентий не мог сразу вскочить, он

долго и трудно поднимался с примятой травы, упираясь в неё руками.

А Олёша как только обнял кота, как только увидел вихрь, так сразу вспомнил о незапертой калитке, о том, что калиткой теперь, наверное, всю хлопает ветер; что сейчас прибежит с фабрики мама проведать дом, проведать его, Олёшу, и никого не найдёт, и заплачет, — он обнял кота ещё крепче и бросился в ту сторону, где была городская дорога.

— Стой! — закричал Арсентий. — Стой! Пережди с нами! Глянь, что за рекой деется!

Олёша глянул — за рекой было черным-черно. Там было пусто и страшно. Там одиноко метался, взблёскивал белыми крыльями чибис, кричал так, словно звал на помощь, но в грозовой полутьме над ним ослепительно полыхнуло — и чибис кувыркнулся в луговое болотце.

Олёша зажмурил глаза и, больше не оборачиваясь, помчался по дороге.

5.

На город гроза ещё только-только надвигалась. В синие прогалы меж чёрных туч падали косые лучи солнца. Они резко высвечивали красные крыши домов, белые стены фабрики, чёрно-зелёные макушки лип. Всё там стало таким чётким и таким тревожно-светлым, что казалось, город сам со своим холмом шагнул Олёше навстречу. Казалось, ещё минута — и Олёша взбежит на этот пёстрый холм, промчится по крутым улицам и откроет знакомую калитку.

Но лучи погасли — город опять стал далёким. Над пыльной дорогой засвистел ветер, на телеграфных столбах заныли провода, и Олёше снова стало страшно.

Кот в охапке у него завозился. Бежать с котом в руках было неловко и тяжело. Ноги оступались в глубокой пыли, и один раз Олёша упал, но кота всё равно не выпустил. Он боялся остаться на дороге один.

И вот, когда он поравнялся с капустным полем, на котором уже не было ни души, на дорогу шлёпнулась крупная дождевая капля. Она ударилась в пыль, расплескалась тяжёлыми, как ртуть, брызгами, а впереди упала вторая капля,



третья. Ветер надул Олёшину рубашу пузырьм, и небо над ним опять треснуло.

Гром ударил с такой силой, что Олёша присел, а потом, не разгибаясь, полез через

канаву, через обочину в тёмные, пока ещё сухие и горько пахнущие заросли полыни.

Он свернулся там калачиком, прикрыл грудью кота, а с дороги над ним, над согнутыми полынными кустами, над голым полем понеслись клочья сухой травы, какие-то перья, пыль. Вокруг стало ещё чернее, и в этой черноте всё чаще, всё ужаснее, всё ослепительнее стали бить молнии.

Они искали его, Олёшу. Олёше подумалось: ещё миг — и громовая стрела ударит в него, он закрыл глаза пыльной ладонью, тоненько закричал:

— Не на-до!

Словно услышав его, близко и пронзительно откликнулся автомобильный гудок. Олёша раздвинул пальцы и одним глазом увидел, как по дороге, вихляясь и подпрыгивая на ухабах, мчится старенький грузовик Чижова, а на самом верху, в кузове, стоит Арсентий. Он быстро поворачивает голову то влево, то вправо, то влево, то вправо, будто что высматривает.

— Миленькие, хорошенькие! Миленькие, хорошенькие! — вскочил Олёша и с котом в обнимку, неведомо как, перелетел канаву, бросился прямо в колею, чуть не под колёса.

Машина резко встала. Арсентий не удержался, упал грудью на кабину.

Дверца распахнулась, оттуда выглянул Чижев, бледный, злой, глаза смотрят бешено:

— Жить надоело? Очумел?

Он даже замахнулся, но сверху крикнул Арсентий:

— Чижов, не ори! Хорошо, что догнали. Сажай его к себе, газуй дальше! Сейчас как из ведра хлынет.

А по железному крылу машины, по стёклам кабины, по Олёшиной спине уже и в самом деле начали бить хлёсткие, холодные капли. Там, откуда грузовик примчался, дождь шёл сплошной стеной. Эта стена быстро приближалась. Шофёр дернул ручку второй дверцы, приказал:

— Садись!

Олёша глянул на дверцу, на шофёра, потом на Арсентия, потом опять на шофёра и сказал:

— Нет, я лучше туда.

— Куда туда? — опять заорал Чижов, да тут Арсентий перегнулся через борт, крикнул:

— Руку давай!

Он вдёрнул Олёшу в кузов.

Олёша больно ударился обо что-то коленом и выронил кота из рук. Тот присел, собрался прыгнуть обратно на землю, и Олёша упал на него, закричал:





— Убежит!

— Не убежит, — сказал Арсентий. Он ловко подцепил Милейшего, распахнул ворот гимнастёрки, сунул взъерошенного кота за пазуху. Милейший и мявкнуть не успел, как очутился под солдатской гимнастёркой. Лишь усатая морда осталась торчать наружу.

Арсентий хлопнул по кабине:

— Давай!

Машина фыркнула, понеслась.

Олёша уцепился одной рукой за грохочущий борт, другой — за Арсентия, за широкий ремень его гимнастёрки.

В лицо ударил сырой воздух. Дождевые капли стегали по голове, потекли под рубашу. Олёше опять показалось, что молния ударит в него, и при каждом раскате грома он оглядывался, приседал. Но, увидев, как твёрдо стоит у кабины Арсентий, и чувствуя рукой тёплую спину его, Олёша стал понемногу успокаиваться. Он даже подумал: «Хорошо, что ливень так бьёт по лицу, ливень смое слёзы, и Арсентий не увидит, какой я зарёванный».

Да и чем ближе сквозь мутную пелену дождя проступал городок, тем больше начинал одолевать Олёшу совсем другой страх.

Когда грузовик, разбрызгивая лужи, подлетел к дому, то Олёша увидел: калитка закрыта, но цепочка с пробоя скинута. Это, наверное, увидел и шофёр Чижев. Он как встал, так сразу принялся давить на гудок, вызывать маму.

А дождь лил всё пуще и пуще. В хмуром небе уже не грохало, не сверкало, там теперь словно кто большой и неуклюжий перекачивал с места на место огромную пустую бочку. Бочка глухо рокотала, а гудок вторил ей, надрываясь что есть мочи.

Арсентий не вытерпел, ударил по кабине кулаком:

— Да перестань ты! Сейчас вылезем.

Гудок смолк, и тут калитка распахнулась, ударила скобой по забору, со двора под дождь выскочила мама. Гребёнку она где-то потеряла, светлые волосы рассыпались, а на лице темнели огромные испуганные глаза.

Была она без тапочек, босиком. К мокрым ногам прилипли жёлтые лепестки, подол платья намок почти до пояса. Видно, она уже бегала по дворам, по лужайкам, искала Олёшу.

— Ну, парень... Ну, парень... — плачущим голосом закричала она и ухватилась за высокий борт, хотела вскочить на грязное колесо машины.

Арсентий осторожно снял её руки с борта, спокойно сказал:

— Погоди. Шуметь погоди.

А потом распахнул гимнастёрку, под которой сидел кот, и широко улыбнулся:

— Приехали!

Милейший сиганул прямо на сырую траву, мокро ему не понравилось, он подскочил и — длинными прыжками, хвост трубой — помчался на крыльцо.

Арсентий глянул на маму, засмеялся:

— Одного потеряшку тебе доставили, сейчас сдадим другого.

Он медленно слез на колесо, на землю, распахнул руки.

— Прыгай ко мне, Олёша.

Олёша упал к нему на руки, задел щекою колючий подбородок, и на него опять приятно пахнуло махоркой. А Чижев из кабины закричал:

— Скоро вы там? У меня времени нет! Мне некогда!

Олёша подумал, что Арсентий сейчас тоже уедет, крепко обхватил его, но Арсентий лишь крикнул шофёру:

— Езжай!

Машина брызнула грязью и в одну секунду скрылась за поворотом.

Арсентий кивнул ей вслед, подмигнул Олёше:

— Ну и дела! Сочиняет Чижев-то, что некогда... Это он просто грозы трусит. Трусит — и сердится. Войну прошёл, вся грудь в медалях, а грозы, чудак, боится! Только из-за тебя от плотины и помчался в поле.

— А ты не боишься? — спросил Олёша.

— А мы с тобой не боимся, — ответил Арсентий и, хотя мама протянула руки, Олёшу ей не отдал, а сам понёс к дому.

Ливень хлестал по крыльцу так, что от ступенек отскакивали крупные брызги. Когда мама распахнула дверь, брызги полетели через порог прямо в сени. Кот заскочил туда

первым. Он по-собачьи отряхнулся и промчался в прихожую, из прихожей в кухню.

За окном кухни мотались под струями дождя гибкие ветви черёмухи. С них лилось на раму, на мутные стёкла. Из открытой форточки несло зябкой сыростью. Кот глянул туда, мигом запрыгнул на печку, а высокий Арсентий пригнул голову, прошёл в чистую комнату и поставил Олёшу на пол.

— Теперь полный порядок. Принимай, Аннушка, пропажу.

От Олёшиных ног сразу отпечатались на полу следы, с мокрой рубахи закапало.

— Горе моё! — опять всхлипнула мама, но быстро справилась и начала сдёргивать с Олёши все мочушки. И рубаху, и майку, и даже трусы. И не успел голый Олёша съжаться, завернула его в свой длинный, с красными горошинами халат и поддала рукой по халату чуть пониже Олёшиной спины.

— Напугал до смерти! Где вы его, Арсентий Лукич, подобрали?

И опять она всхлипнула, опять собралась подшлёпнуть Олёше, да тут Арсентий придержал её руку, очень добрым голосом сказал:

— Не надо, не ругай... Он молодец у тебя. Помощник. Он гвоздь нам, плотникам, подарил. Верно, Олёша?

— Угу! — вскинул тот на Арсентия сразу просиявшие глаза и торопливо добавил: — Я тебе ещё помогу! Хоть сто раз помогу, хоть тысячу!

— Во! — торжественно поднял руку Арсентий. — Слышала? Тысячу раз. — Потом засмеялся: — Тысячу — не надо, а вот колесо завтра ставить помощи. Я утречком за тобой зайду.

Олёша чуть не задохнулся:

— Врёшь!

— К чему врать? Не вру.

И Арсентий опять, как тогда на реке, провёл шершавой ладонью по Олёшиным волосам, а потом шагнул было к двери, да там остановился.

Остановился, подумал, медленно поднял голову и сказал маме:

— Ты, Анна Матвеевна, вот что... Ты на меня и на мою Марью за тот разговор не обижайся...

У мамы лицо сразу потемнело. Она хотела взяться за концы платка, но платка на голове не было, и руки упали.

— На что обижаться? На правду?

— Не такая уж это правда! — взмахнул и словно что-то отсёк ладонью Арсентий. — Я, Анна Матвеевна, подумал, снова прикинул и теперь полагаю: Фёдор твой ещё вдруг и вернётся... Ну, мало ли что? На войне случается по-всякому! Я об этом и Олёше сказал, не сердись. А меня за то, что я сразу тебя хоть каплю не обнадёжил, прости.

И тут мама тоже подняла голову, схватилась за верхнюю прозрачную пуговку кофты и хоть горько, но всё-таки улыбнулась:

— Спасибо вам.

За окошком в это время забарабанило по мокрой листве ещё сильнее. Раскатисто, но уже не сердито проворчал далёкий гром, и мама опять глянула на Арсентия, вздохнула:

— Льёт-то как... Измочит вас до нитки. Переждали бы...

— Не сахарный, не размокну, — засмеялся Арсентий. — Побегу Чижа в обратный путь сватать. Гром попритих — Чиж, поди, успокоился.

Олёша кинулся к окошку и через потное стекло увидел, как высокий, чуть сутуловатый Арсентий, сильно при каждом шаге отмахивая правой рукой, идёт прямо по лужам к чёрной от дождя калитке. Олёша посмотрел, как эта калитка распахнулась, потом закрылась, вдруг обернулся к маме и показал ей на окошко пальцем:

— Вот!

— Что «вот»?

— Ты, мамушка, говорила, надеяться нам не на кого. А на Арсентия нельзя, да?

Мама подхватила Олёшу под мышки, поставила на печной приступок, на лесенку:

— Можно, можно. На Арсентия Лукича можно. Полезай на печку, обсохни, уймись.



Но Олёша перешагивал с приступка на приступок и всё не унимался:

— А на Чижова надеяться нельзя, да? А на Дружкова нельзя, да? А на Цыгана нельзя, да?

— Кто такой Дружков? Кто такой Цыган? — улыбнулась мама. — Весь белый свет у тебя в приятелях?

— Не весь, а плотники на реке! Я теперь плотником буду. Мы с бригадой для тебя новый дом построим. И для тебя, и для папки, если он раненый придёт. Он придёт — а я уже плотником буду, таким, как Арсентий, вот!

— Ну, будь, будь, — посадила мама Олёшу на самую печь, а из-за маминой спины с тёмной переборки смотрели весёлые человечки. Они махали Олёше тонкими руками, словно просились к нему, к Олёше, в плотницкую компанию.

Милейший тихонько подлез под бок мальчика, зажмурил зелёные глаза, уютно замурлыкал. Он тоже считал: день сегодня прошёл хорошо. Он тоже был согласен, что надеяться им с Олёшей и с мамой Аннушкой есть на кого, и запирать калитку на замок не надо.



**КРАЙ
ЗЕМЛИ**

Кира, а по-домашнему Кирилка, — это девочка десяти с половиною лет. У неё большие серые глаза, нос пуговкой, ярко-рыжие волосы перехвачены почти на самой макушке круглой аптечной резинкой и мотаются пушистым хвостиком.

Родители Кирилкины уехали прошлым летом очень далеко, на целинную стройку, и девочка сейчас живёт у своей родной тёти Олимпиады Петровны Чечкиной.

Олимпиада Петровна почти всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, но теперь вышла на пенсию, воспитывать ей стало некого, и, конечно, она была рада-радехонька, когда Кирилка поселилась у неё в доме.

«Вот как хорошо! — подумала тогда тётя. — Теперь мне будет не так одиноко, а главное, я опять смогу заняться своим любимым делом — воспитанием детей. Правда, вместо двадцати пяти детсадовских малышей у меня на руках будет только одна собственная племянница, но это дела не меняет. Это всего-навсего означает, что собственную племянницу я смогу воспитать ровно в двадцать пять раз лучше».

Но получилось всё не так, как думала тётя.

На другое же утро Кирилка умылась, оделась, нахлобучила свою меховую мальчишечью шапку, отыскала в кухне кошёлку и заглянула в неё:

— Ага! Деньги тут. Ну, я побежала.

Тётя выскочила следом в прихожую и, на ходу подпоясывая широченный халат, испуганно, басом спросила:

— Куда побежала?

Краснощёкое, толстое лицо у тёти сразу стало таким, словно она только что услышала от Кирилки: «В нашем доме пожар! Я помчалась вызывать пожарную команду!»

Но Кирилка ответила спокойно:

— Я побежала в булочную. Вам какую булку принести? Сайку, плетёнку или просто батон?

— Калач с маком, — сказала машинально тётя, да тут же и спохватилась: — Это забота не твоя, а моя. Твоя забота учиться, а булочную предоставь мне.

— Не предоставлю, — ещё спокойнее взглянула из-под

мохнатой шапки маленькая Кирилка. — Нет, не предоставлю. Вы знай себе отдыхайте, а я за вами пригляжу. Так я обещала папе с мамой, обещаю и вам.

Кирилка распахнула дверь, обернувшись, добавила:

— А если вам очень хочется, так можете вскипятить чайник. До школы мы ещё успеем позавтракать.

А потом всё так и пошло. За какую бы домашнюю работу Олимпиада Петровна ни взялась, Кирилка обязательно эту работу перехватит и постарается сделать сама. Она только любимые тётины пироги с яблоками не бралась печь, но и к этому очень искусному делу начала уже приглядываться.

Более того, однажды в зимний денёк Кирилка прибежала из школы, скинула пальто, плюхнулась на диван и сказала:

— Ф-фух! Минутку передохну и помчусь обратно. В классе родительское собрание, приглашают всех пап и мам.

Олимпиада Петровна так руками и всплеснула:

— Ты что? Ты сама себе папа-мама, что ли?

— Не папа-мама, но вместо них.

— Это я теперь вместо них! — вспылила тётя, схватила в охапку Кирилкино пальто, сунула в гардероб, защёлкнула дверцу на замок, а ключ опустила в карман кофты.

Но тут тётя вдруг испуганно подумала, что храбрая Кирилка побежит за ней следом без пальто, в одной шапке, и через полминуты сказала:

— Ну, ну, ну... Ладно! Не волнуйся. В школу пойдём вместе, пускай у нас будет ничья.

Но гораздо серьёзнее и безо всяких ничьих тётя и Кирилка спорят ещё кое о чём.

Тётина квартира находится на самом краю большого уральского города, в старом кирпичном доме на третьем этаже, и за её окном пушата инеем тонкие макушки высоких берёз. Сквозь берёзовые ветки далеко и широко видать белое ровное поле. Оно всё расчерчено длинными дорожками; на краю поля блестит под зимним солнцем стеклянное здание: там городской аэровокзал.

Издали в ясную погоду из окна хорошо видно, как разбегаются по дорожкам и взлетают в небо маленькие самолёты. Кирилка знает, что на самом деле самолёты огромные, сильные; она видела их вблизи, когда вместе с тётей провожала в дорогу отца и мать; но из окна квартиры они, раскинувшие свои тонкие крылья над белым полем, всё равно ка-

жутся небольшими и очень похожими на серебристых птиц.

Самолёты часто пролетают над самым домом, и тогда весь дом наполняется мощным, рокочущим гулом. Гул быстро нарастает и быстро уходит ввысь, а в тётинной комнате ещё долго и тонко позванивает длинными висюльками стеклянная люстра.

Тётя каждый раз поглядывает на люстру с тревогой. Аэропорт здесь открылся недавно, и тётя всё не может к самолётам привыкнуть и даже собирается переменить квартиру.

А Кирилке здесь нравится.

Особенно любит Кирилка смотреть на аэродром ночью. В ночной темноте не видно ни земли, ни неба, лишь горят разноцветные линии посадочных огней. Лишь ярким кубом сверкает вдали сам аэровокзал, а над ним в ночном пространстве вдруг начинают мерцать две-три летучие искорки. Это идёт на посадку ночной самолёт, и каждый раз, увидев его огоньки, тётя хватается за сердце:

— Ужас! Лететь по небу в таких потёмках! И чего это людям не сидится дома? Днём летят-едут, ночью летят-едут, а куда? Зачем? Кто их гонит? Твои папа и мама тоже взяли вот да и умчались за тридевять земель. А какая в том необходимость? Ведь им никто не приказывал.

— Совсем и не за тридевять, а в казахстанские степи на целину! — сразу начинает сердиться Кирилка. — И зачем им какой-то приказ, когда они поехали строить новый совхоз.

— Новый, — укоризненно покачивает головой тётя. — Как будто здесь, в городе, новых строек нет... Да их полно! Куда ни глянь, везде стройка. Работали бы здесь, жили бы в тепле да в полном спокойствии, тебя бы, дочку свою, как положено, воспитывали, а теперь что? Теперь, поди, в холодных палатках мёрзнут и уже каются вовсю...

— Не каются! Я сама к ним поеду, как только получу телеграмму.

— Батюшки! А ты-то ещё зачем? У тебя-то там какие заботы?



Вот на этот вопрос Кирилка так, сразу, ответить не может. Вернее, может, но не знает, как сказать поточнее.

Если сказать, что она просто-напросто соскучилась по маме с папой, то рассудительная тётя обязательно ответит:

— Скука не причина. Я тоже по ним соскучилась, да терплю. Отправляться на самый край земли тебе совсем не обязательно. Дождёшься, не умрёшь до папиного-маминоного отпуска.

Если же сказать, что как раз на край-то земли ей, Кирилке, съездить и охота, тётя непременно всплеснёт руками и опять заявит:

— Нет, нет, и не выдумывай! Пускай твои неразумные родители присылают хоть сто телеграмм, а я тебя не отпущу. Да и не будет никакой телеграммы. Что они, собственной дочери враги, что ли? Вдруг дорогой какая беда случится!

Но телеграмма всё-таки пришла. Её принесли с почты как раз накануне зимних каникул. В ней чёрным по белому было напечатано:

«ЖДЁМ КИРУ ТРИДЦАТОГО ДЕКАБРЯ ТЧК ЕЕ ВСТРЕТИТ КЫЗЫЛКУЛЕ ПЕРВЫМ АВИАРЕЙСОМ НАШ ДРУГ ВАСЯ КОЗЛИК ТЧК ОБНИМАЕМ НИНА СЕРГЕЙ ТЧК».

— Господи! — сразу всполошилась тётя. — Господи! Авиарейсом! Ребёнка! Четвероклассницу! Ну ладно бы поездом, а то — авиарейсом.... Да где это видано, где это слыхано?

— Что-обы девчонок возил самолёт! — засмеялась, запела Кирилка и, раскинув руки, прошла по светлой комнате таким винтом, что её рыжие волосы высоко взметнулись, и от них вокруг стало ещё светлей.

А тётя устала в телеграмму. Сразу было видно: телеграмму составил папа. Он всегда, если что задумает, твёрдо говорит: «Решено — и точка! Сказано — и точка!» Даже в телеграмме он поставил целых три раза «тчк», и тётя мигом поняла, что спорить бесполезно. Она лишь нахмурилась, очень скучным голосом произнесла очень длинную речь:

— Всё это несерьёзно. Вся эта затея — сплошной риск. Кроме того, и встречающий у тебя там тоже какой-то неосновательный... Ну что это за фамилия такая — Козлик? А вдруг это и не фамилия вовсе, прозвище? Тогда уж совсем ясно: человек этот — легкомысленный, возьмёт да и подведёт. У солидного человека такой фамилии быть не может.

— Может! — отчеканила Кирилка. — Директор нашей школы — Смехов, а нам, когда он вызывает в кабинет, ни капли не до смеха. Так что фамилия тут ни при чём!

— Но я бы на твоём месте всё равно призадумалась.

— А я бы на вашем месте, если бы за кого боялась, так села бы вместе с этим человеком в самолёт — и точка!

— Что-о? — изумилась тётя, и лицо у неё вытянулось, а брови полезли вверх.

— Села бы вместе с ним, то есть вместе со мной, в самолёт — и точка! — повторила Кирилка. — А там, оглянуться не успеем, и уже Кызылкуль. В Кызылкуле наш друг Вася Козлик. У Васи Козлика — легковая машина, тоже, наверное, «козлик». На машине мы примчимся к папемаме. И вот: «Здравствуйте, я ваша дочка! Здравствуйте, я ваша тётя! Наконец-то мы съехались все вместе!» Знаете, как будет весело!

Брови у тётя поднялись ещё выше, лицо вытянулось ещё больше. Такая смелая мысль у неё самой никогда не возникала и возникнуть не могла. На работе в детском саду она привыкла всегда и за всё бояться. Она и переулок-то родной переходила с такой опаской, как будто за ней тянется строй детских садовских малышей-карапузиков, а тут сразу, нá тебе — поехали в Кызылкуль!

Тётя склонила голову набок и медленно, с великим сомнением произнесла:

— Ты так думаешь?

— Я так думаю, — тоже медленно, но очень твёрдо ответила Кирилка. — Ну что? Можно доставать чемодан?

И вот не очень решительная тётя вдруг почти решительно махнула рукой:

— Доставай! Ехать так ехать, пропадать, так вместе. Одну я тебя отпустить не могу, на мне ответственность.



А потом она смущённо улыбнулась и тихо договорила:

— Ну и, конечно, еду потому, что соскучилась по своей единственной сестре, твоей маме.

На другой день ровно в десять ноль-ноль тётя и Кирилка сели в самолёт, который летел в целинные края с посадкой в Кызылкуле. По сравнению с московскими и дальневосточными лайнерами он был не так уж и велик, а внутри, как показалось тёте, даже негде в нём и повернуться.

На тёте было толстое зимнее пальто, тёплая зимняя папаха, на колени она поставила чемодан, и в узком кресле ей сразу стало не только тесно, но и жарко. Во время посадки получилась, кроме того, неприятность.

Наслушавшись Кирилкиных разговоров о том, что путешествие будет нетрудным, а главное — быстрым, тётя испекла перед самым отъездом яблочный пирог, обернула его дюжиной старых газет, спрятала под бельё в самую серединку чемодана и надеялась, что в такой упаковке пирог доедет до места почти тёплым.

Но когда стали подниматься в самолёт, навстречу вышла бортпроводница в пилотке и очень вежливым голосом сказала:

— Громоздкие вещи в салон не заносить. Прошу их оставить в багажном отсеке.

А тётя испугалась, что в багажном отсеке будет холодно, пирог там застынет, и взяла чемодан, как портфель, под мышку.

— У меня вещь не громоздкая. Эту вещь я должна держать при себе.

— Что значит «при себе»? — обиженно глянула проводница. — Аэрофлоту надо верить. Аэрофлот отвечает за всё.

— Мы верим, — сказала Кирилка.

— Я верю, — смутилась тётя, да только чемодан из рук всё равно не выпустила, и вот теперь сидела в узком кресле с чемоданом на коленях, и ей было тесно, жарко и конфузно.

Зато лёгкая Кирилка устроилась лучше некуда. Место ей досталось рядом с круглым оконцем. За стеклом светило солнышко, ярко сверкало морозным инеем поле аэродрома.

Чуть впереди и повыше окна протянулось огромное крыло. Под ним висел мотор с пропеллером. Пропеллер вдруг начал вертеться с такой быстротой, что исчез из глаз, и на месте его остался лишь прозрачный круг. За бортом самолёта

загудело, по бетонной дорожке побежали тонкие снежные ручьи.

Тётя проговорила взволнованно и сипло:

— Внимание! Пристегнуть ремни!

Кирилка подняла глаза, увидела на переборке светящуюся надпись, пошарила вокруг и сразу нашла два ремня с пряжками.

Тётя в своём кресле тоже закопошилась. Она изо всех сил стала дёргать такие же ремни, всё пыталась застегнуть их вокруг себя и чемодана. Ремни не сходились, и тётя волновалась ещё больше.

«Горе моё!» — подумала Кирилка и с большим трудом помогла тёте застегнуться.

В салон вошла строгая бортпроводница. Она объявила, на какой высоте, с какой скоростью полетит самолёт, как звать-величать командира. Потом добавила:

— Во время полёта прошу не курить. Желаю доброго пути!

Тётя робко, как школьница, подняла руку:

— Курить мы не будем, но почему на креслах ремни такие?

Бортпроводница шагнула к тёте, молча расстегнула тяжёлые пряжки, просунула и крепко защёлкнула их там, где положено. Между тётей и её драгоценным чемоданом.

А путь оказался и вправду недолгим. Уже через час самолёт пошёл на снижение, и как только он в Кызылкуле покати по снеговой дорожке, тётя сразу оживилась, моментально забыла весь свой конфуз.

— Глянь-ка! Впрямь не успели опомниться и уже приехали! Теперь верю, пирог привезём свеженьким. Теперь лишь бы нас не подвёл этот самый Козлик.

— Не подведёт! Будьте уверены! — сказала Кирилка.

Но внизу, у лесенки, их никто не встречал. Там вообще уже не было ни единой души. Только под самым самолётом меж больших колёс ходил, низко пригибался и по-медвежьки переступал меховыми унтами авиамеханик и что-то там, на металлическом брюхе самолёта, разглядывал, похлопывал рукавицей и опять разглядывал.

Вокруг расстилалась холодная равнина. Над ней нависло серое стылое небо. По равнине задувал ветер. Он переметал



узкую тропу, и все бывшие попутчики были уже далеко. Прикрываясь от ветра варежками, упрятав носы поглубже в тёплые воротники, они спешили реденькой цепочкой к невысокому, словно приплюснутому зданию. Над его кровлей торчала труба, ветер срывал с трубы плоскую струю дыма, силился повалить высокую тонкую радиомачту — похоже, это и был местный аэровокзал.

— Вот так да! — сказала тётя, то и дело оступаясь на узкой, рыхлой тропе. — Вот так да! Вот так приехали... Где он, твой хваленый Козлик? Неужто ленится выйти, у печки сидит? Так и машины близко не видно...

На дороге у вокзала было действительно пусто, и сама дорога, убегающая к чуть заметному вдалеке посёлку, была пустынной. Тётя сердито перехватила из руки в руку чемодан, ещё больше нахмурилась:

— Попали в историю, нечего сказать... Я как чувствовала, из нашей поездки ничего путного не выйдет. Ну, где он, Козлик? Где?

— Да что вы всё, как маленькая, где да где! Наверное, там, где надо! — не вытерпела Кирилка и от расстройства даже повысила голос. Она толкнула плечом тугую дверь вокзальчика, тётя протиснулась за ней.

Сквозь морозное облако пара сначала ничего нельзя было разглядеть, там оглушительно ревел баян, раздавались весёлый гвалт, топот и смех. Половицы и весь тесный вокзальчик ходили ходуном.

Пар схлынул, и Кирилка с тётей увидели баяниста. Он, круто склонив голову в барашковой кубанке, изо всех сил дёргал тугие мехи инструмента, перебирал яркие кнопки ладов, а перед ним топотал, ухал, и ахал кряжистый, как гриб-боровик, парень в распахнутом полушубке и ходила павой черноглазая дивчина в соскользнувшем на плечи, на шубейку пуховом платке.

Вокруг теснилась толпа. Она подхлёстывала плясунов

озорными криками, и тётя опасливо обошла толпу, выбрала угол поспокойней, возле самой билетной кассы.

Под окошечком кассы на тонконогой скамье сидел в полном одиночестве унылый человек. Он весь, как серый воробей в стужу, нахохлился, руки засунул в рукава, поверх шапки и пальто на нём было повязано крест-накрест толстое байковое одеяло. Точно так вот пакуют по морозной погоде малых ребятшек чересчур заботливые матери, точно так вот кутаются, собираясь в дорогу, очень старые старушки.

Человек и сам бы смахивал на зябкую старушку, да под большим вислым носом у него довольно бойко топорщились чёрные, аккуратно подстриженные усики.

Тётя опустилаcь рядом на скамью.

Скамья скрипнула, пошатнулась, человек опасливо пересел чуть дальше.

Тётя подвинулась вслед за ним, кивнула на весёлую толпу:

— Что значит молодёжь. Нигде не теряются. А у нас, представьте себе, вышло недоразумение. Муж моей сестры, а стало быть, мой зять, обещал прислать машину «козлика», вернее, шофёра Козлика с машиной, но тот куда-то исчез...

— Остались от козлика рожки да ножки, — пробубнил сердитым голосом сосед.

— Что? Что? — испуганно переспросила тётя.

Но сосед накрепко замолчал, и тётя опять очень вежливо продолжила:

— Вы меня не поняли. Я вас не про того козлика спрашиваю, который из песенки, а спрашиваю вас про Козлика-шофёра... Но, может быть, вам известно и про моего зятя, про Сергея Сергеевича? Он тоже доброволец, он строит здесь новый совхоз «Победа».

Тётя подвинулась к соседу ещё ближе, тот снова промолчал, отодвинулся ещё дальше. Он сидел теперь на самом конце скамьи и, похоже, не только не хотел сидеть рядом с тётей, но даже и разговаривать.

— Вы что? Слышать вдруг перестали? — обиделась наконец тётя, и только тут из-под башлыка-одеяла донеслось:

— Я, мадам, слышу... Я, мадам, не оглох, не кричите. Просто-напросто я и знать теперь не желаю никаких добровольцев, никаких побед, а тем более козликов.

— Как так?



— А так, мадам. Был конь, да уездился.

— Какой конь? И какая я вам мадам? Я обыкновенная гражданка Олимпиада Петровна Чечкина, бывшая работница детского сада номер сто двадцать три! — обиделась ещё больше и даже возмутилась тётя. — И странно, что вы ничего не желаете знать. Но, может, у вас тут какая беда приключилась? Может, вас тут кто обидел?

— Это, мадам, теперь неважно... — обернулся к тёте унылый человек. — Это, мадам, не имеет теперь никакого значения. Теперь мой путь направлен совсем в другую сторону. От души советую, поворачивайте и вы назад.

Он даже приподнял руку, похлопал по полочке билетной кассы:

— Пока не поздно, занимайте очередь за мной.

— Почему? — чуть не крикнула Кирилка.

— Почему «пока не поздно»? — всполошилась тётя.

Но тут баян и топот в зале смолкли, кто-то гаркнул:

— Братцы, машина! — И толпа повалила на улицу.

Кирилка вскочила, тётя вскочила, скамья сразу стала лёгкой, одним концом взыграла вверх, и дядя в одеяле ахнуть не успел — скатился кулём на пол.

В воздухе мелькнули растоптанные подошвы его валежок, он забранился, тётя растерянно заметалась туда-сюда, не зная, что делать: то ли соседа поднимать, то ли к машине бежать. На улице уже громко засигналил гудок, и Кирилка потащила тётю за рукав к выходу.

Автомашина стояла у самого крыльца на раскатанной, скользкой дороге. Только машина была не легковая, как думали тётя с Кирилкой, а грузовая, и бойкие девочки и парни торопливо карабкались на её высокий борт, прыгивали друг за дружкой в просторный кузов. Набилось их туда полным-полно. Баянист сразу пристроился поудобнее у стенки кабины, а черноглазую плясунью втокнули к водителю. Тот лихо заломил свою рыжую лисью шапку-малахай на затылок, расплылся в довольной улыбке.

— Ну вот, наше место занято, — растерянно развела руками тётя и собралась как можно учтивее, словно в чужую комнату, постучать в стекло кабины согнутым пальцем. Кирилка опередила тётю, сердито хлопнула по кабине ладошкой.

— Што нада? — высунулся лисий малахай, и на Кирилку остро и весело уставились узенькие глаза шофёра.

— Васю надо! Козлика! Вы — Вася? — бесстрашно спросила Кирилка.

— Какой Вася? Зачем Вася? Я — Сарсембай. Не видишь разве? Куда тебе нада?

— В совхоз «Победа».

— Я не «Победа». Я — «Пионер».

Водитель шагнул на подножку и махнул куда-то далеко назад.

— Там «Победа», там. Вон твой Вася едет. Смотри...

По серой и прямой, как стрела, дороге от посёлка к вокзалу катил гусеничный трактор. За ним ехала телега на резиновых колёсах, над телегой высилась красная груда кирпичей.

«Разве это Вася? Это же тракторист на тракторе», — хотела крикнуть Кирилка Сарсембаю, но тот уже дал газ, баянист в кузове широко распахнул свой весёлый, с яркими планками баян, вся куча мала девчат и парней загалдела, грузовик сорвался с места.

А трактор, грохоча и лязгая, подкатил, сделал широкий круг, остановился. Кирилка с тётей кинулись к нему. Им, усталым, расстроенным, было теперь уже всё равно — трактор не трактор, машина не машина, — лишь бы там, в кабине, оказался долгожданный Вася Козлик.

И вот трактор заурчал совсем тихо, дверца приоткрылась. Тётя встала на цыпочки, чтобы побыстрее заглянуть в кабину, да тут же и опустилась. Прямо под ноги к ней мощным прыжком вымахнул из кабины огромный серогрудый пёс-овчар. Он встал так близко, что в уголках его чуть раскосых глаз Кирил-



ка рассмотрела розоватые прожилки; увидела, как насторожённо подрагивает его нос, и ясно услышала, как в самой глубине его груди раскатилось предостерегающее:

— Р-р-р...

— Но, но, но! — отшатнулась тётя, заслонила чемоданом, словно щитом.

— Но, но, но! — сказала Кирилка, шагнула вперёд, загородила собою тётю.

— Ко мне, Шайтан! Ко мне! — донеслось из кабины, и на утрамбованный колёсами снег выпрыгнул тракторист, румяный от холода и совсем молоденький. На нём был грязный ватник, серые, в мазутных пятнах валенки и серая, тоже повидавшая виды шапчонка.

Пёс подскочил к нему, улыбочиво ткнулся носом в жёсткий ватник, а хозяин приказал: «Сидеть!» — сам помчался к вокзалу, да посреди дороги вдруг остановился. Его пристальный взгляд скользнул по Кирилкиной мальчишечьей шапке, по тёплой куртке, по лыжным штанам.

— Постой, постой, — сказал тракторист, как будто Кирилка и так не стояла на месте. — Постой, постой... Ты кто? Ты пацан или девочка?

Кирилка не ответила. Она промолчала, потому что всё ещё смотрела на пса, и тётя тоже смотрела на пса, а тот, наострив уши, разглядывал их обеих по очереди.

— Да бросьте дрейфить! — усмехнулся тракторист, шагнул к Кирилке и вдруг ухватил её ушастую шапку за самую маковку.

Шапка поднялась. Кирилка сердито крутнула головой. Ярко-рыжий хвостик пламенно взметнулся на ветру, и тракторист радостно ахнул, на секунду зажмурился, быстро насунул шапку опять на голову девочке и закричал:

— Ого! Вот так май-июнь! Вот так подсолнух! Наверняка ты и есть Кирилка.

— Я и есть, — растерянно кивнула девочка, а тракторист сдёрнул промасленную, как блин, рукавицу, сунул Кирилке широкую ладонь.

— Тогда привет! Я — Козлик. Вася. Прости, замешкался. Получал кирпичи, задержали грузчики. А ну, подтверди, Шайтан!

— Гав! — подтвердил Шайтан.

А обойдённая вниманием тётя вдруг оскорбилась:



— Молодой человек, знакомиться начинают со старших.

— С каких старших? — удивился Вася, но тут же глянул на тётю повнимательнее и, озарённый внезапной догадкой, хлопнул себя по макушке: — А-а, знаю! Вы новый парикмахер. Нет у нас парикмахера. Вернее, был, да сбежал, и ходит слух, к нам едет новый, солидный, причём — женщина. Ну, здравствуйте, товарищ парикмахер! Ждём вас, не дождёмся... Небось тут бритвы-ножницы? — потрогал он тётин чемодан.

Вид у Васи был такой серьёзный, он так поверил в свою догадку, что теперь заулыбалась тётя:

— Ну, что вы... Тут всего-навсего пирог. Яблочный.

— Ах, так? Ну тогда вы пекары! — обрадовался ещё больше Вася. — Пекари нам тоже нужны позарез.

Он чиркнул широкой ладонью по горлу, чтобы показать, как нужны в совхозе пекари, а Кирилка наконец не выдержала, звонко рассмеялась.

Шумноватый, чуть бестолковый Вася ей теперь очень понравился. Она сказала ему:

— Нет, нет. Это не пекарь, не парикмахер, это просто моя тётя. Она едет вместе со мной в гости:

А Вася и тут не растерялся:

— Очень прекрасно! Прошу в кабину, товарищ тётя...

— Олимпиада Петровна, — весело подсказала тётя и совсем было собралась шагнуть к трактору. Ноглянула на Шайтана,глянула на железную, должно быть, очень холодную кабину,зябко поёжилась.

— Не бойтесь, — услужливо посадил её Вася на скользкую гусеницу, и вот тётя вскарабкалась, опустилась в кабине на пружинное сиденье:

— Я не боюсь...

— Конечно, не боимся! — подхватила Кирилка. — Это нас тут Мадам какой-то пугал. Всё говорил: «Пока не поздно, поворачивайте назад». А сам бух с лавочки — и лапки кверху.

Кирилка думала, Вася засмеётся, переспросит: «Кто такой? Где?» — а Вася и переспрашивать не стал. Он сказал так, словно человек, о котором вспомнила Кирилка, стоит рядом.

— Говоришь, «мадам»? Правильно. Мадам он и есть. Его тут все только так и зовут. Он в каждом совхозе тут бывал, всё особой выгоды выискивал, да так и не нашёл — подался в бега. Домой на печку, к тёплому местечку! Что ж... Пушай катится колбаской, не жалко.

— Он кто?

— Тот самый горе-парикмахер...

— И несчастный человек! — вдруг высунулась из кабины тётя.

— Несчастный? Отчего же? — удивились Вася и Кирилка вместе, и даже мохнатый Шайтан наострил уши.

— Оттого что в детстве плохо воспитали! Не присматривали! Вот он такой и вырос.

— Ну, раз вырос, теперь о воспитании говорить не приходится, — ответил Вася и слегка подтолкнул Кирилку к трактору. — Садись... Поехали.

— Подождите, подождите, — заволновалась тётя. — Вы

как хотите, а мне его всё равно жаль. Вдруг не всё ещё потеряно? Вдруг его можно вернуть, посадить на трактор, увезти обратно в совхоз и там пере-вос-питать?

— Вы, что ли, будете его сажать на трактор-то? — с ухмылкой, но вполне серьёзно спросил Вася. А Кирилка сразу представила, как тётя ведёт этого закуלקанного Мадама за ручку, как подсаживает, словно малыша-детсадовца, на трактор, и отвернувшись, хихикнула.

Но сама тётя к Васиному вопросу отнеслась тоже вполне серьёзно. Она даже прикинула в уме, как лучше поступить, да только тут же вспомнила свою недавнюю беседу с Мадамом и медленно помотала головой:

— Не-ет... Пожалуй, нет. Мне с ним не справиться.

— Вот то-то и оно, — сказал Вася. — Давайте-ка лучше трогаться. А то стоим, время тратим, а нам ещё оё-ёй сколько километров на гусеницы мотать.

И вот они все четверо усадились в кабину: тётя — слева, Кирилка — посредине, а Вася — справа, у рычагов управления. Шайтан, запрыгнув последним, устроился на обрывке старой кошмы, на железном полу.

Но первым делом он заметил тётин чемодан с пирогом и быстро нюхнул его. Нюхнул и отвернулся. Он сел на кошму подальше от чемодана ровно настолько, насколько это можно было сделать в такой тесноте, и тем самым показал, что уж кто-кто, а он-то пёс очень скромный и очень воспитанный с самого детства. Не какой-нибудь там невежа и попрошайка.

Тем не менее тётя взглянула на него с прежней опаской и на всякий случай передвинула чемодан к самому сиденью.

Поначалу Кирилке, стиснутой между Васей и тётей, сидеть было плохо. Вася то и дело наклонялся к рычагам, толкая её то плечом, то локтем. Под ногами и сиденьем что-то гремело, звенело, впереди ещё оглушительнее ревел мотор, и на ходу вся кабина сотрясалась мелкой дрожью. Но мало-помалу Кирилка угнездилась половчей и даже решила, что путешествие на тракторе несколько не хуже путешествия по воздуху.

— Очень интересно! — сообщила она об этом тёте. Тётя обернулась, наставила, как глухая, ладонь горсточкой:

— Что ты сказала? Тесно?

— Я говорю, интересно!

— Ну, да... Очень тесно и душновато. Пахнет не то го-

релым, не то ещё чем. Как бедный пёс терпит, — ответила совсем невпопад тётя, потому что в кабине из-за лязга и грохота расслышать друг друга было невозможно.

А Шайтан, между прочим, на весь этот шум и на запах перегоревшей солярки не обращал никакого внимания. Он привычно сидел себе на дрожащем, гремящем полу, чуть касаясь мохнатой спиной Кирилкиных колен, да спокойно поглядывал в переднее стекло. Ему при его великанском росте не надо было для этого даже привставать.

Трактор выкатился на широкую площадь Кызылкуля с древнею пожарной вышкой и с новым деревянным домом за ней. Дом украшала доска с надписью «Столовая». Ветер по площади гулял так же, как в поле, на аэродроме.

Он гнал снежную позёмку, качал и сгибал молодое прутьё в насквозь прозяблом скверике, лихо засвистывал вокруг одиноко стоящей у столовского крыльца машины, очень похожей на ту, что недавно увезла с аэродрома весёлую толпу.

Вася ткнул в сторону машины рукавицей, что-то сказал Кирилке.

Кирилка пожала плечами. Тогда Вася сбросил газ, нажал на тормоз, опять показал на пустую машину, крикнул с весёлой завистью:

— Эх-ма! Фартит же людям... Сарсембай свадьбу в «Пионер» везёт. К ихнему жениху невеста прилетела. Всем совхозом встречали. Да им что? Им тут близко! Небось теперь сидят, не торопятся, на дорогу заправляются чайком... Может, и вы не прочь?

Кирилка хотела ответить, что она, конечно, не прочь: Кирилка никогда в жизни не видывала, как невеста и жених пьют чай.

Только на этот раз более расторопной оказалась тётя. Она ответила первой:

— Нам всё равно. Решайте, Вася, сами, как лучше.

Вася оттянул грязный обшлаг ватника, посмотрел на часы, а потом глянул на дорогу, на белую, как дым, позёмку:

— Да по мне, лучше бы всего сейчас дома сидеть, в своём совхозе. В такую погоду столовские чаи распивать нам некогда.

— Почему? — насторожилась тётя. — Что с погодой? Есть какая-то опасность?

— Сразу и опасность! — ответил необидным смешком

Вася. — Я к тому, что времени у нас в обрез, ехать — так ехать. А погоду мы выдывали всякую. Верно, Шайтан?

И снова Шайтан согласился с хозяином, только на этот раз гавкать в кабине постеснялся, ответил коротким, нетерпеливым повизгиванием.

Вася ласково потрепал его мохнатый загривок, включил скорость, и трактор опять бойко затарахтел.

За Кызылкулем в открытой степи шоссейную дорогу переметало ещё сильнее. Но по ней, как видно, часа полтора — два назад прошёл грейдер, дорогу разгрёб хорошо, и теперь вдоль обочины тянулись прямые высокие валы. Ветер старался разметать их снова, но успел это сделать лишь кое-где.

— Зря тётя тревожилась, — сказала сама себе Кирилка. — По такой дороге можно катить хоть на самый край земли. — И тут же улыбнулась, вспомнила, что, по тётиным понятиям, они как раз и находятся сейчас на краю земли, и стала поглядывать вокруг с ещё большим любопытством.

Только смотреть пока было не на что. Разве на телеграфные столбы, которые торчали вдоль дороги прямой шеренгой, да опять же на летящий снег, на белесую мглу начинающейся метели.

Впереди трактора показалось бурое расплывчатое пятно. Оно двигалось в ту самую сторону, что и Васин трактор, но чуть медленней, и Вася мало-помалу догнал его, стал обходить с левой стороны.

Это был длинный, облепленный снегом вагон с маленькими окошками и узкой дверью. Ехал он на полозьях, и тащил его тоже трактор. Из чёрной жестяной трубы вагона летели искры. Там, должно быть, пылала печь, потому что дверь отодвинулась, и выглянула вся раскрасневшаяся, как помидор, очень молодая тётенька в заляпанной спецовке нараспашку.

Через её голову тянулась, выглядывала такая же румя-



ная подружка. Вася распахнул свою дверцу, впустил в кабину ветер, во всё горло закричал:

— Эй, вы! Малярши-штукатурши! Что тихо ползёте? А ну, улыбнитесь! На буксир возьму...

«Малярши-штукатурши» то ли что поняли, то ли нет, но одна во всю ширь улыбнулась, а другая насмешливо прищурилась, показала Васе язык. Потом вдруг вытаращила глаза, с великим испугом замахала рукой в сторону Васиной телеги: «Ох, батюшки! Смотри, что у тебя там творится, смотри! Ужас!»

Вася заполошно перевесился из кабины и посмотрел назад. Телега вслед за трактором катилась как ни в чём не бывало. «Малярши-штукатурши» захохотали.

Вася захлопнул дверцу, тоже захохотал.

— Во, какой зубастый у нас народ! Сразу сдачи даёт! — радостно и одобрительно прокричал он Кирилке. А ей тоже стало смешно. Она даже пожалела, что вагон так быстро отстал, а то бы, наверное, эти бойкие «малярши» придумали ещё что-нибудь весёлое.

Вскоре пришла и Васина очередь уступать дорогу. Позади протяжно и требовательно засигналил автомобиль. Вася отвернул в сторонку, и мимо с криком, смехом и музыкой пронеслась на Сарсембаевом грузовике свадьба. Недолго помаячив впереди трактора ярким баяном, розовыми весёлыми лицами пассажиров, она быстро превратилась в тёмную точку, потом исчезла совсем в метельной полумгле, и Вася вдруг резко потянул за рычаг управления.

Трактор накатил гусеницами на сугробный вал обочины, раздавил его и с тяжёлым грохотом покарabкался куда-то прямо в степь навстречу ветру, навстречу летящему снегу.

«Куда это он?» — недоумённо подумала Кирилка.

— Куда это вы? — закричала тётя.

Лишь невозмутимый Шайтан даже не ворохнулся на своём месте.

Трактор сильно качнуло, тётя охнула, придавила Кирилку и вцепилась в рукав Васиной стёганки:

— Да куда же вы? Куда?

— В «Победу»! — откликнулся Вася, повернул трактор ещё круче к ветру и встал. — Вот наша дорога. А та, — он махнул в сторону шоссе, — та уже не наша, не к нам.

Тётя припала к переднему стеклу рядом с Шайтаном.

Шайтан нехотя посторонился, скосил на неё тёмный, с красноватым белком глаз, но собака теперь тётю не страшила, её пугало совсем другое.

За окном на все три стороны раскинулась пустынная степь, она вся дымилась белоснежным курувом, лишь кое-где впереди виднелись чуть заметные бугорки, ямки да обглаженные ветром белые изломы наста. Если это и была дорога, то проезжали по ней в последний раз очень давно, ещё до ненастья.

— Господи! Ни столба, ни вешки... Может, вернуться и подождать хорошей погоды?

— Сейчас поглядим, — ответил Вася и выскочил из кабины на снег. Шайтан хотел было тоже выскочить, но Вася ему запретил, а сам, глубоко проваливаясь, обошёл трактор, выбрался на твёрдое, потоптался, поковырял снег носком валенка и, заслонясь рукою от ветра, стал внимательно всматриваться в летящую мглу.

Потом быстро вернулся, бодро сказал:

— Доедем! Мой давешний след ещё видать.

Но тётя всё равно покачала головой, и тогда Кирилка наконец возмутилась, прикрыла от Васи лицо ладошкой и выговорила тёте:

— Ну что вы всё боитесь и боитесь? Дома боялись, в самолёте боялись, а теперь наслушались Мадама и трусите опять. А ещё собирались пирог свеженьким до папы с мамой довести... Прямо смех!

Трактор между тем выбрался вместе с телегой на новую дорогу. Вася в разговоры больше не вступал. Ему было не до этого. Он старался не потерять едва приметный тракторный след и, кроме того, всё чаще и чаще поглядывал на свои часы со светящимся циферблатом. Короткий январский день шёл на убыль, ненастная мгла совсем закрыла небо, и от этого сумерки надвигались ещё быстрее.

Тётя тоже нет-нет да и взглядывала на свои часики, а потом на тракториста, но заговаривать с ним пока не решалась. Тогда Кирилка крикнула ему сама:

— Доедем-то скоро?

— Что?

— Доедем-то скоро?

— Скоро, скоро! К ужину поспеем... — ответил Вася и



вдруг вскочил, глянул в заднее окошечко и разом надавил на тормоз: — Ах, дьявол! Накаркали!

Кирилка тоже, чуть не свернув шею, глянула назад, в окошечко, но ничего, кроме кирпичной го-рушки на телеге, не рассмотрела.

Вася пулей вылетел из кабины, Шайтан ринулся за ним.

— Что случилось? — побледнела тётя, а Кирилка, чувствуя, что в самом деле произошло что-то серьёзное, сорвалась с места, кинулась за Васей, за Шайтаном.

На миг она задержалась на стальной гусенице, подумала, что если спрыгнет, то сразу окунётся по пояс в снег, но когда прыгнула, снег оказался не таким уж глубоким. Он взвивался белыми вихрями, хлестал по трактору, и в свистящем воздухе его, наверное, было куда больше, чем на земле. В открытой степи морозный буран царствовал, как хотел. Из-под толстой Кирилкиной куртки сразу унеслось всё тепло. Кирилка съёжилась, побрела к Васе.

А Вася бранился. Он стоял у перекосившейся телеги, разглядывал переднее странно смятое колесо и кричал не то Кирилке, не то Шайтану, не то самому себе про тех малярш на дороге, которые «накаркали» ему беду; костерил почём зря какого-то механика Тимохина, которому сто раз было говорено не отправлять в дальний рейс прицепы с барахольными камерами; но Тимохин всё равно это делает, отправляет, потому что он тумака, потому что сам в рейс не ездит, и ему хоть кол на голове теши — никогда ничего не поймёт!

Кирилка, втянув голову в плечи и чувствуя, как ветер задирает воротник куртки, стояла, слушала, растерянно молчала.

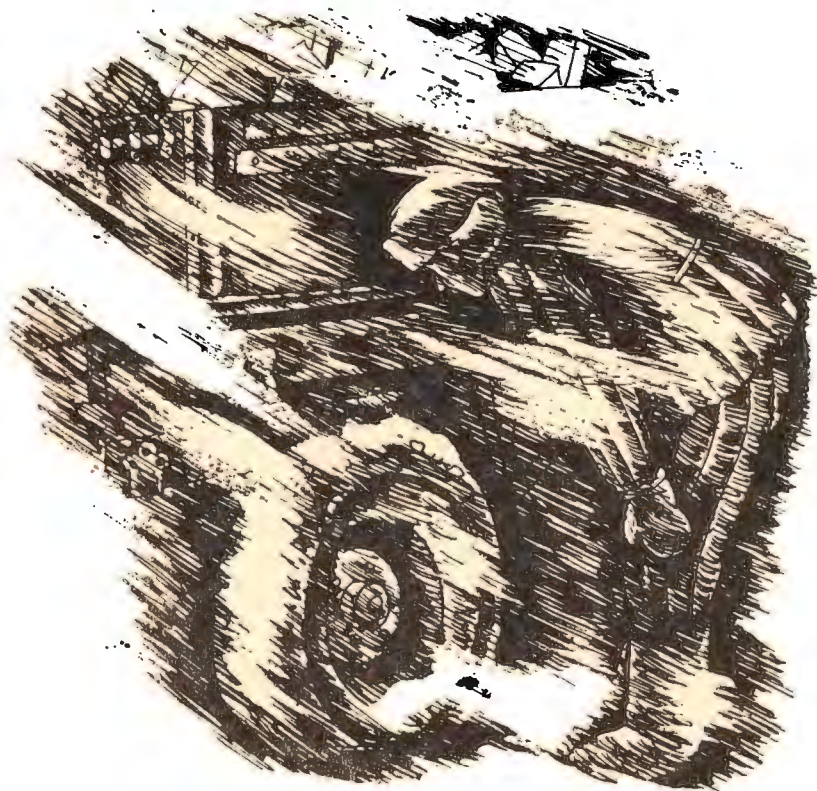
Шайтан не обращал никакого внимания на Васин крик. Он понимал, этот крик к нему не относится, а самого его ни крепкие, ни худые камеры не интересовали. Он деловито кружил на дороге, что-то там вынюхивал. Может быть, заметённый заячий след, может быть, что иное, для него, для пса, очень важное.

Вася попритих, пнул дырявое колесо:

— Менять надо. Запасное ставить. На таком-то адском холоду!

И, опять чертыхаясь и без конца поминая неизвестного Тимохина, Вася полез в кабину, заставил тётю подняться, сдвинул подушку сиденья и со стуком, лязгом начал выкидывать на гусеницу гаечные ключи. И было видно: стучит он и чертыхается не только оттого, что зол, а оттого, что ему страсть как неудобно перед тётей за эту оплошность, хотя он в ней, похоже, несколько не виноват.

Тётя молча поглядывала, ни во что не вмешивалась. И это было самое правильное, что она теперь могла сделать. А к ногам Кирилки вылетело из кабины железное, сильно помятое ведро. Ветер кувыркнул его, подхватил и с громким бряком помчал по насту. Кирилка бросилась в погоню, ведро поймала, а когда понесла назад, то встречные вихри ей пришлось пробивать плечом, как будто она шла не против ветра, а против сильного потока на дне очень холодной глубокой реки.





У неё дыхание захватывало от такого ветра, и даже Шайтан теперь укрылся в малом затишке за гусеницей, всем телом там встряхивался, освобождал шубу от колючего снега.

Кирилка протянула ведро Васе, едва пробормотала задубевшими губами:

— Фофет, ефто фто помофь?

Это значило: «Может, ещё что помочь?» — Но Вася как глянул на её согнутую фигурку, так сразу ско-мандовал:

— В кабину марш!

— Н-нет... — начала было спорить Кирилка, да Вася не тётя, рассуждать не стал, а взял Кирилку в охапку, посадил вверх, с лязгом захлопнул за ней дверцу.

— Сиди и не вылезай!

Кирилка упала на мягкое сиденье, потом свесила вниз ноги, перевела дух. Железная кабина с урчащим за тонкой перегородкой мотором теперь ей показалась тёплой, как дом. Тётя наклонила совсем белое в густых сумерках лицо, почему-то шёпотом спросила:

— Ну, что там? Что?

— Камера лопнула... Авария, — нехотя отозвалась Кирилка, наперёд готовясь к новым ахам и охам, но тётя на этот раз не ахнула и даже не вздохнула. Она тяжело взгромоздилась коленями на сиденье, продавила его чуть не до пола, прильнула к заднему окошечку.

Кирилка потеснила тётю, тоже припала к окошечку.

Там жутко и ослепительно полыхнуло багровое пламя. Оно затрепетало на ветру длинными рваными лоскутьями, осветило и окрасило в красный, тревожный цвет телегу с кирпичом, и край дороги, и летящий над ней снег, и даже сам Вася в своём замурзанном ватнике и в шапчонке-ушанке стал весь чёрно-багровым.

Пламя рвалось из ведра. В нём теперь бурлила горячая солярка.

Бушующий, как на пожаре, огонь стлался под ветром к самой земле, а Вася то исчезал, то появлялся в багровых от-

светах; он что-то там, у телеги, у передка, спешно подкапывал, подсовывал, звонко стучал железом по железу.

Окошко было тусклым, тревожное пламя и к этому времени совсем уже ночные, почти чернильные тени метались из стороны в сторону, мешали смотреть. Да и сами тётя с Кирилкой в такой механике, как трактора и прицепы, нисколько не разбирались.

Они поняли только одно: Васе на ветру у телеги не очень-то жарко, хотя и пылает там сильный огонь.

Работу он то и дело бросал, вбегал почти в самое пламя и, отворачивая лицо, совал руки со скрюченными пальцами к ведру. А потом принимался махать, прыгать, колотить себя по бёдрам, затем снова кидался к телеге и опять там скрёб, лязгал мёрзлым железом.

Наконец Васино терпение кончилось. Он подскочил к кабине, бешено заколотил в неё. Кирилка сначала не поняла, почему это он бухает, не открывает сам, но когда помогла дверцу распахнуть и Вася ввалился в неё головой вперёд, то ничего не стала спрашивать.

Вася рухнул на сиденье, через его валенки перекатился Шайтан. Он мазнул по Кирилкиному лицу холодной шерстью, Кирилка отпрянула, Вася сунул руки под мышки и закачался вверх-вниз, вверх-вниз, словно кому-то закланялся:

— Ах-х, чёрт... Ах-х, чёрт... Стужа, как в Антарктиде.

— Обморозились? Болит? — робко и участливо спросила тётя и ещё более робко посоветовала: — Может, зря вы с телегой возитесь? Может, проще отцепить её, а потом вернуться? Куда она тут денется?

— Никуда не денется... Никуда... — в такт своему покачиванию пробормотал Вася. — Да только у нас так не делается... У нас такого тракториста парни с ходу засмеют.

Он выпрямился, покряхтывая от боли, стал руки растирать, а Кирилка наклонилась к самым его рукам, тронула их и сказала как можно ласковей:

— Давайте, Вася, я потру. У меня ладошки тёплые, даже горячие. Вот, пощупайте.

— Ничего, ничего. Я сам, — бормотал Вася. — Я сам... Я сейчас... Я уже это проклятое колесо сдёрнул, запасное прикатил, осталось привернуть — и всё.

— И всё, — повторил он, опять согнулся, сквозь зубы, как от нестерпимой боли, втянул в себя воздух, ударил пле-

чом в дверцу и опять выскочил на снег. Шайтан, скребанув крепкими когтями по железному полу, снова бросился за ним.

Тётя потянулась было через Кирилку к распахнутой дверце, но не дотянулась, села и сказала:

— Нет, нет, нет. Я так больше не могу.

— Страшно? — впервые посочувствовала тётё Кирилка. Посочувствовала, потому что ей и самой стало боязно, и тётино настроение она поняла хорошо.

— Ну, как не страшно? Конечно, страшно. Человек там бьётся один, чуть ли не пропадает, а мы сидим, ничего не делаем, и нам хоть бы что... Не могу я так!

— Я тоже не могу. Да как быть? Он меня в кабину затолкнул, приказал: «Сиди!»

— Мне не прикажет, — приняла решение тётя, сама распахнула дверцу со своей, с левой стороны и медленно, неуклюже стала выбираться.

Оскальзываясь на гусенице и рискуя оборвать все застёжки на пальто, она потихоньку сползла в снег, встала, и ветер сразу чуть было не сорвал с неё папаху. Она пришлёпнула папаху, натянула глубже, а ветер принялся трепать длинные полы пальто, упруго, будто ладонью, надавил в спину, и тётя запуталась ногами в снегу, едва не упала.

Снег сверху сыпаться перестал. На угрюмом небе из-за чёрных туч слабо забрезжила луна, но в степи почти не посветлело. Лишь косые вихри позёмки стали виднее. Они неслись мимо тётки с протяжным и жалобным гулом; а там, ещё дальше в ночи, взмётывались вверх какие-то огромные и белесые крылья, какие-то косматые и седые гривы, раздавался чей-то печальный и одинокий вой, и тётя в ужасе вдруг припомнила все свои разговоры про край земли. Она, часто оглядываясь и часто перебирая руками по трактору, стала поспешно выбираться туда, где пылал живой, яркий огонь.

Через дышло телеги она перевалилась, как через изгородь, и, отпыхиваясь и широко растопырив руки, встала рядом с Кирилкой. Вид у неё был такой, словно она явилась из дальнего, очень опасного путешествия и вот наконец-то увидела всех вместе: глядящего на огонь Шайтана, зябко прыгающую с ноги на ногу Кирилку, Васю у телеги.

Вася сдёрнул рукавицу, подул в пригоршню, нахмурился.

— Кто вас просил? За компанию пришли мёрзнуть, что ли?

Но по голосу было слышно: он рад. Пускай тётя и Кирилка не помощники, да всё ж на людях ему повеселей, а может быть, и немного теплее, легче.

Вася вывернул из-под телеги тяжёлую подставку-домкрат, попинал новое, только что привинченное колесо, а дырявое, со спущенной камерой, собрался закинуть на кирпичи, на борт. Колесо из окоченевших Васиных рук вырвалось, чуть не ударило по ногам.

— Подхватывайте! Что смотрите! — закричал Вася, и тут уж Кирилка с тётей бросились помогать со всех ног. Они, суетясь, подхватили очень твёрдое и тяжёлое резиновое колесо, принялись подталкивать его вверх на высоко чернеющую в темноте телегу.

Колесо грохнулось через борт, Вася кинулся подбирать инструменты. Он хватал их, а вконец застывшие руки не могли удержать ни ключа, ни молотка, с них даже обледенелые рукавицы спадали, и Вася цапал руками, как мотыгами, только снег.

— Подбирайте! Живей! — приказал он тогда помощникам, ударил ногой по горелому ведру, оттуда выпали кирпичи и дымящиеся тряпки. Солярка брызнула на снег, вспыхнула на мгновение ещё ярче.

Кирилка быстро подняла ключ, молоток, а тётя ухватила обеими руками, как пудовую гирию, тяжёлый домкрат и пошала с ним к трактору. Неудобная железина прожгла холодом даже вязаные варежки, но, странное дело, с той минуты, как тётя принялась за работу, ей стало намного спокойнее.

Нет, это не значит, что она перестала тревожиться совсем. Тревожилась она по-прежнему. Она тревожилась и за то, как Вася с его руками поведёт трактор, и за то, как разыщут они теперь в ночной степи дорогу, которую, пока стояли, совсем замело; она тревожилась и за то, что Кирилкины родители теперь, наверное, места себе не находят: ведь если бы не поломка, трактор-то давным-давно должен был прийти в совхоз.

Но всё же и эта тревога теперь была не такой, как раньше. Особенно не такой, как в ту жуткую минуту, когда тётя оказалась одна-одинёшенька в степи, там, за трактором. Тогда страх был настоящий, такой, от которого хотелось кричать, звать на помощь, а теперь тётя неожиданно поняла, что она через этот ужас переступила, и тревога, которая в ней

осталась, нисколько её не сковывает, а, напротив, заставляет вести себя ещё решительней.

И тётя с грохотом решительно забросила свою железную ношу в кабину, решительно подсадила Кирилку, громко закричала Васе:

— Всё, что ли? А может, ещё что поднести?

Вася и Шайтан стояли во тьме, пламя погасло. Тракторист не спешил, хотя и съёжился весь от холода и боли. Он присел на корточки рядом с высоким Шайтаном и всё поглаживал, поглаживал его, что-то тихо ему наговаривал.

«Нашёл время гладить! Ведь сам терпит едва-едва, да и мы с тётей мёрзнем», — подумала Кирилка.

Словно услышав её, Вася перестал гладить пса, приподнялся, ухватил его за ошейник, побежал рядом с ним куда-то мимо трактора.

— Ведро подберите, — сказал он тёте на бегу.

Обежав трактор, Вася остановился на том месте, где должна была находиться дорога, а теперь лежала такая же, как везде, снежная целина. Там он Шайтана отпустил и махнул рукой вперёд. Пёс не очень уверенно шагнул, остановился. Вася опять махнул, и тогда пёс побежал трусцой в ту сторону, откуда дувал теперь заметно ослабевающий ветер. Луна выкатилась полностью, она осветила и чёткие следы Шайтана, и его самого. Он, чёрный при этом свете и ещё более огромный, на ходу оглянулся, как бы спросил хозяина: «Ну вот, я пошёл... А ты что же стоишь?» Хозяин, широко размахивая руками и колотя себя по бокам, помчался к кабине.

Кирилка с тётей удивились:

— Да вы что? Да куда же вы Шайтана-то погнали? Он же тоже продрог!

— Продрог — согреется на ходу. Теперь его очередь. Теперь он в смену заступил, — не совсем понятно и как бы осердясь ответил Вася.

Он опять, сморщившись от боли,



как мотыгой, стукнул скрюченной рукавицей по рукоятке газа, включил скорость.

Застоявшийся трактор взревел, заскрежетал промёрзшими гусеницами, покатился по следу Шайтана. А тот ещё раз остановился, понюхал снег и, почти не поднимая головы, помчался вперёд короткими лёгкими прыжками. Он бежал и всё время оглядывался. Он проверял, правильно едет хозяин на тракторе или нет.

Со стороны эта картина была, наверно, странноватой. По белой равнине при тусклом свете луны скачет бесшумной тенью пёс; печатает на совершенно гладком, вылизанном метелью снегу чёткие следы, и эти следы для трактора — как для слепого поводок. Оборвись поводок, исчезни пёс — и могучий трактор бестолково затычется туда-сюда, а потом, возможно, и совсем застрянет, и тогда трактористу придётся вылезать, отыскивать потерянный путь под сугробами на ощупь, а всю-то белую степь не обшаришь...

— Не собьётся Шайтан? Не заведёт нас? — прокричала Кирилка.

— Никогда! — в ответ крикнул Вася и тут же добавил: — А ну, поменяйся быстренько с тётей местами.

— Зачем?

— Поменяйся, говорю, местами! Олимпиада Петровна, идите сюда! — закричал Вася ещё громче и нетерпеливее, и Кирилка с тётей завозились в кабине, с трудом стали перелезать, а Вася и сам уже подвинулся так, что тётя вдруг очутилась не на Кирилкином, а на водительском месте.

Она было шарахнулась обратнó, да Вася прямо-таки принудил её взяться за рычаги:

— Действуйте!

Тётя готова была теперь к любой неожиданности, но к этой — нет. Она в жизни не управляла никакой техникой, кроме швейной машинки, а тут в руках её оказался целый трактор, грозно ревущий, лязгающий и неудержимо катящийся по сугробам неведомо куда.

Впрочем, куда он должен катиться, тётя понимала. Он должен идти всё время за Шайтаном, да только Шайтан вдруг стал забирать в сторону да в сторону, а трактор катил прямо и прямо. Тётя закричала:

— Где тут что нажимать? Говорите скорей!

— Правый рычаг на себя! — скомандовал Вася.

Тётя изо всех сил рванула правый рычаг, и трактор вдруг послушался очень легко. Он повернулся даже больше, чем требовалось. Подправить его другим рычагом тётя догадалась сама и с радостным вздохом, даже с ликованием, обернулась. Она решила, что Вася посадил её за управление лишь для того, чтобы она совсем уж перестала трусить, чтобы сама увидела, какая у них надёжная машина и как хорошо показывает путь Шайтан, да тут же увидела: Вася посадил её к рычагам совсем не за тем. Сам он управлять трактором не мог, ему нужна была срочная передышка.

Вася опять сидел, кланялся, опять бранился. Обмороженные руки, должно быть, сильно ломило, и он не знал, куда их девать. Он то постукивал кулак о кулак, то совал их поближе к тёплому мотору к передней стенке, то снова постукивал.

Наконец положил обе руки на колено, приказал Кирилке:

— Три! Бери варешку и три!

Кирилка провела варешкой по Васиным пальцам.

— Смелей! — втянул в себя воздух Вася и покрутил головой. — Смелей и быстрее! Изо всех сил жми...

И она стала тереть быстрее, нажимать с такой силой, что своим рукам стало больно, а Вася всё покряхтывал да покряхтывал:

— Ещё сильнее! Ещё! Ага! Гореть начали. Значит, отходят. Значит, целы.

Кирилке самой стало жарко. Ей хотелось сбросить шапку, растегнуть пальто, да Вася не позволял остановиться, всё подгонял:

— Давай, давай!

Это «давай, давай» доносилось и до тёти, и она вцеплялась в рычаги ещё крепче, припадала к смотровому стеклу ещё ближе, и ей казалось, от таких её усилий трактор ревет ещё громче, катится ещё быстрее.

Но вот Вася поднял руки, стал их бережно потирать сам.

— Спасибо, подсолнушек! Быть тебе доктором.

Кирилка отпыхнулась и тоже пошутила в ответ:

— Мне доктором, а тёте трактористом. Гляньте-ка...

При слабом свете окошка тётин курносый профиль в нахлобученной папаше выглядел весьма внушительно. Олимпиада Петровна всюду шуровала рычагами.

Шайтан всё чаще и чаще сворачивал то в одну, то в другую сторону. Степь теперь стала холмистой, и укрытая снегом дорога широко запетляла меж этих холмов. На склонах то тут, то там затемнели деревья, они спускались навстречу трактору, сначала негустыми, редкими островками, потом слились на той и на этой стороне в две сплошные чащи, и трактор с телегой побежал по узкой, совсем тихой долине.

Луна высветила какие-то белые кочки, длинные, похожие на следы полозьев полосы, и все поняли, что выехали на крепкую, настоящую дорогу.

Шайтан сразу сел и стал похож на остроухий чёрный пенёк.

— Туго знает своё дело! Поручение исполнил — решил отдохнуть! — радостно объяснил Вася и сам остановил трактор, свистнул пса.

Шайтан влетел в кабину мохнатым вихрем, принялся вертеться, толкаться, безо всякого стеснения совать всем в руки холодный нос. Он прекрасно понимал свою заслугу, шумно и суетливо радовался и хотел с каждым в кабине этой радостью поделиться.

— Хорошо бы его сейчас угостить, — подумала вслух Кирилка.

— Хорошо-то хорошо, да, наверное, нечем, — сказал Вася, но на всякий случай включил в кабине крохотную лампочку, стал проверять карманы ватника.

Он медленно опускал руку в карман, пёс внимательно наклонял голову, следил за рукой, да только на припухшей ладони тракториста появлялись каждый раз то гайка, то ножик, сделанный из обломка слесарной пилы, то ещё какая-нибудь металлическая шутовина. Лишь под конец на ней оказалась расплюснутая корочка, и Шайтан корочку слизнул, проглотил в один приём.

— Эх, вы... Хозяин! — с укоризной сказала тётя. — Да за такую службу разве так надо угощать? А ну, подайте сюда чемодан.

И на глазах изумлённой Кирилки тётя безо всяких колебаний раскрыла чемодан, с громким шорохом развернула бумажную упаковку, потребовала у Васи нож.

Затем всё так же решительно и быстро прямо на крышке чемодана развалила пирог надвое острым лезвием ножа, одну половинку опять спрятала, а вторую поделила ровно на че-

тыре части. Выбрала самый поджаристый кусок, и Шайтан ловко поймал его на лету.

— Ого! — сказал Вася. — Угощают тебя, Шайтан, прямо по-царски!

— Вы тоже угощайтесь, — сказала тётя Васе и Кирилке.

Кирилка ломоть взяла, но держала его перед собой как бы не замечая. Она всё ещё не могла отвести глаз от тёти. Она прямо-таки не узнала её, свою вечно пугливую и не шибко расторопную тётю.

Спокойнѣхонько навалясь на засаленную до мазутного блеска спинку сиденья и нисколько не оберегая новое пальто, Олимпиада Петровна Чечкина восседала за тракторными рычагами так, как будто просидела тут всю свою трудовую жизнь. Она, как хорошо поработавший и знающий себе цену человек, с аппетитом откусывала от пирога, поглядывала сквозь широкое стекло на снежную долину, на тёмные деревья, на зеленоватую холодную луну, поглядывала на Васю и рассуждала с ним совершенно на равных, как бывалый водитель с водителем:

— Ну что, Вася? Поедим и дальше тронемся?

— Угу, — кивнул Вася, уплетая пирог.

— А всё ж таки вы молодчаги с Шайтаном. Надо же, попасть в такую ужасную переделку и — выскочить... Рукам легче стало?

— Угу, — опять кивнул Вася, потому что всё ещё был занят пирогом.

Наконец управился, заявил:

— Тоже мне «переделка»! Для нас это дело обыкновенное. Вы сами-то как?

— Отлично. Не скажу, что для меня это дело обыкновенное, но... — Она запросто, ни капли не смущаясь, похлопала по рубчатой рукоятке рычага: — Но если надо, могу ещё покрутить.

Вид у неё стал такой важный, что Кирилка сказала:

— Ох, тётя, тётя! Вот бы глянул теперь на вас Мадам,



наверняка бы опять свалился с лавочки. И покупать обратный билет уже не позвал бы... Вот вам, тётя, и край земли! Помните?

— Гав! — вмешался в разговор Шайтан, потому что вкусный кусок давно съел и ему хотелось ещё.

А Вася спросил:

— Край земли? Какой край земли? Где?

— Нигде, — быстро отмахнулась тётя. — Это мы так, меж собой... Пустяки.

Но Вася, как видно, и сам догадался, на что намекает Кирилка.

Он подумал и сказал:

— Край земли там, где нас нет. А там, где мы, — там у неё самая что ни на есть серединка. — Потом пошутил: — Пока пирог не доели весь, поехали дальше. А то и в самом деле такую вкусноту до совхоза не довезём.

— Довезё-ом! — со всей уверенностью заявила тётя, деловито отряхнула с ладоней крошки, опять было взялась за рычаги, да взглянула на Васю, очень вежливо спросила:

— Можно? Ничего, если я порулю ещё минут пять? Без Шайтана. Сама.

— Ну, если пять минут, то можно, — улыбнулся Вася, помог включить скорость, и они тронулись дальше.

А Кирилка ехала, смотрела на зимнюю ночную дорогу, на тихие, в белых шапках деревья и тоже тихонько, про себя, думала.

Она думала о том, что кем-кем, а тётей теперь ей, Кирилке, больше не командовать.

Ей тоже теперь придётся всегда и обо всём разговаривать с тётей на равных, и это очень хорошо.

А потом сквозь окно трактора она увидела два мигающих в небе огонька. Они быстро уплывали за синие от лунного света холмы, за деревья, и Кирилка поняла, что это улетает из Кызылкула ночной самолёт.

Улетает, может быть, в её родной город.



И, возможно, в нём летит тот странный человек с нелепым прозвищем Мадам.

И Кирилка вдруг подумала, что жалеет этого Мадама, что прозвище его не так уж и смешно, а, скорее, грустно, и даже удивилась этой своей жалости.

Но удивлялась Кирилка напрасно. Просто она пока ещё не поняла, что и сама, как тётя, стала за это короткое путешествие хотя и ненамного, но уже навсегда другой.

Кузьмин Лев Иванович

КРАЙ ЗЕМЛИ

Повести для детей младшего
школьного возраста

Художник **С. Можаява**

Редактор **А. Зебзеева**. Художествен-
ный редактор **Н. Горбунов**. Техниче-
ский редактор **Т. Дольская**. Кор-
ректоры **Л. Крамаренко, И. Пархо-
мовская**.



Сдано в набор 12/VI 1976 г. Подпи-
сано в печать 20/IX 1976 г. Формат
бум. офс. № 2 70×90 1/16. Печ. л.
8,0 (усл.-прив. л. 9,36), бум. л. 4,0;
уч.-изд. л. 6,625. Тираж 15 000 экз.
Цена 38 коп. Темплан 1976 г. Изд.
№ 42. Зак. 749. Пермское книжное
издательство, 614000, г. Пермь,
ул. К. Маркса, 30. Книжная тип.
№ 2 управления издательств, по-
лиграфии и книжной торговли,
614001, г. Пермь, ул. Коммунисти-
ческая, 57.

Кузьмин Л.

- К89** Край земли. Повести для детей младшего школьного возраста. Вступ. слово С. В. Сахарнова. Худ. С. Можаяева. Пермь, Кн. изд-во, 1976.

126 с.

Кроме заглавной, в книгу включены повести «Привет тебе, Митя Кукин!» и «Олёшнин гвоздь».

К $\frac{70802-79}{M152(03)-76}$ 42—76 P2

38 коп.



ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1976 г.